

серия  
детекция  
pocket



**ДЕТЕКТИВ  
НА РУСИ**

- [Детектив на Руси](#)

- 

- 

- [от редакции](#)

- [Евгений Абрамович Баратынский «Перстень»](#)

- [Михаил Николаевич Загоскин «Белое привидение»](#)

- 

- 

- \_

- [Антон Павлович Чехов «Шведская спичка»](#)

- 

- 

- [I](#)

- [II](#)

- [Михаил Дмитриевич Чулков «Рассказы из книги „Пересмешник, или Славенские сказки“»](#)

- 

- 

- 

- [Угадчики и верблюды](#)

- [Горькая участь](#)

- 

- 

- \_

- \_

- \_

- \_

- \_

- 

- 

- [Драгоценная щука](#)

- 

- \_

- \_

- \_

- \_

- \_

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

o 3



## Детектив на Руси

Выражаем признательность сайту  
«Классический детектив: поэтика жанра»  
(<http://detective.gumer.info>) за предоставленные материалы

## от редакции

Представляем вашему вниманию сборник рассказов от отечественных предшественников детектива, причем большая их часть написана задолго до Эдгара По. Конечно, это не совсем детективы, но в них есть и загадки, и вполне логичные отгадки.

Обычно мы долго собираем средства на выпуск очередной книжки, и при этом позволяем читателям проголосовать за то, какая именно книжка выйдет следующей. Но этот сборник вышел спонтанно, и вне очереди. Кто-то может решить что это нечестно. Спешим успокоить: выпуск этой книги не потребовал значительных усилий, и нисколько не замедлил работу над остальными книгами, так что можно рассматривать ее как бонусный том.

Ну а если кто желает поспособствовать выходу остальных книг — загляните в наш блог <http://deductionseries.blogspot.com> или в нашу группу Вконтакте — [vk.com/deductionseries](http://vk.com/deductionseries)

# Евгений Абрамович Баратынский

## «Перстень»

1831

*Маленькая повесть - единственное прозаическое произведение одного из величайших русских поэтов. Сюжет ее построен на неподдающейся объяснению загадке, и если бы не абсолютно неприемлемая в детективном жанре развязка, автора можно было бы считать творцом первого в истории литературы детектива. Хотя рождение нового жанра в этой повести и не состоялось, на ее примере можно увидеть, что основные стилевые и сюжетные элементы будущего детектива уже были предвосхищены в литературных опытах писателей-романтиков.*

В деревушке, состоящей не более как из десяти дворов (не нужно знать, какой губернии и уезда), некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство, – словом, был счастлив; но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожай за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, другую оттягивал у него беспокойный сосед, известный ябедник. Скупому не был он в состоянии заплатить своего долга; против дельца не мог поддержать своего права, – конечно, бесспорного, но скудного наличными доказательствами. Заимодавец протестовал вексель, проситель с жаром преследовал дело, и бедному Дубровину приходило дозареза.

Всего нужнее было заплатить долг; но где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился, однако ж, испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям, просил, умолял; но везде слышал тот же учтивый, а иногда неучтивый отказ. Он возвратился домой с раздавленным сердцем.

Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного, – правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика. Он у него не был, и тому причиною было не одно знакомство. Опальский (помещик, о котором идет дело) был человек отменно странный. Имея около полутора тысяч душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям

жизни, он ничем не пользовался. Пятнадцать лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Управитель, без его приказания и почти насильно, пристроил к ней две комнаты, которые с третьей, прежде существовавшей, составили его жилище. В соседстве были о нем разные толки и слухи. Многие приписывали уединенную жизнь его скупости. В самом деле, Опальский не проживал и тридцатой части своего годового дохода, питался самою грубою пищей и пил одну воду; но в то же время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не поверял своего управителя, – к счастью, отменно честного человека. Другие довольно остроумно заключили, что, отличаясь образом жизни, он отличается и образом мыслей, и подозревали его дерзким философом, вольнодумным естествоиспытателем, тем более что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и корни, что в доме его было два скелета, и страшный желтый череп лежал на его столе. Мнению их противоречила его набожность: Опальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть, и угрызения совести были причиною странной жизни Опальского.

Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. «Прощай, Саша! – сказал он со вздохом жене своей. – Еще раз попробую счастья», – обнял ее и сел в телегу, запряженную тройкою.

Поместье Опальского было верстах в пятнадцати от деревушки Дубровина; часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Опальский. Дорога была узкая и усеяна кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать лошадей. Вообще нельзя было ехать иначе, как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Опальского.

Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами и удостоверился, что слухи о странном помещике частью были справедливы. В углах стояли известные скелеты, стены были обвешаны пучками сушеных трав и корней, на окнах стояли бутылки и банки с разными настоями. Некому было о нем доложить; он решился войти в другую комнату; отворил двери и увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением.

Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Молча стоял он у дверей, ожидая, чтобы Опальский кончил или оставил свою работу; но время проходило, Опальский не прерывал ее. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами, – Опальский не слышал его шарканья. Бедность застенчива. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал и, ни на что не решаясь, вертел на руке свой перстень, наконец, уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Опальского, упал на стол перед самым его носом.

Опальский вздрогнул и вскочил со своих кресел. Он глядел то на перстень, то на Дубровина, и не говорил ни слова. Он взял со стола перстень, с судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Он был высокого роста; редкие волосы покрывали его голову, коей обнаженное темя лоснилось; живой румянец покрывал его щеки; он в одно и то же время казался моложав и старообразен. Прошло еще несколько мгновений. Опальский опустил голову и казался погруженным в размышление; наконец, сложил руки, поднял глаза к небу; лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность.

– Господи, да будет воля твоя! – сказал он. – Это ваш перстень, – продолжал Опальский, обращаясь к Дубровину, – и я вам его возвращаю... Я мог бы не возвратить его... что прикажете?

Дубровин не знал, что думать: не собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавив, что в нем его единственная надежда.

– Вам надобно десять тысяч, – сказал Опальский, – завтра же я вам их доставлю; что вы еще требуете?

– Помилуйте, – вскричал восхищенный Дубровин, – что я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобны! Жена, дети опять с хлебом; я, она до гробовой доски будем помнить...

– Вы ничем мне не обязаны, – прервал Опальский. – Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень... (тут лицо его снова омрачилось). Этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною... Давно не видал я этого перстня... Он был моим... но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу: завтра я к вашим услугам.

Едучи домой, Дубровин был в неопisanном волнении. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала,



но некоторые слова Опальского смутили его сердце. «Что за перстень? – думал он. – Некогда принадлежал он Опальскому; мне подарила его жена моя. Какие отношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает! Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?» Чем он более думал, тем он становился беспокойнее; все казалось странным и загадочным Дубровину.

– Опять отказ? – сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего, входящего с лицом озабоченным и пасмурным. – Боже! Что с нами будет! – Но, не желая умножить его горести: – Утешься, – прибавила она голосом более мирным, – Бог милостив, может быть, мы получим помощь, откуда не чаем.

– Мы счастливее, нежели ты думаешь, – сказал Дубровин. – Опальский дает десять тысяч... Все слава Богу.

– Слава Богу? Отчего же ты так печален?

– Так, ничего... Ты знаешь этого Опальского?

– Знаю, как ты, по слухам... но ради Бога...

– По слухам... только по слухам. Скажи, как достался тебе этот перстень?

– Что за вопросы! Мне подарила его моя приятельница Анна Петровна Кузьмина, которую ты знаешь: что тут удивительного?

Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Опальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сторала любопытством.

– Непременно напишу у Анне Петровне, – сказала она. – Какая скрытная! Никогда не говорила мне об Опальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны.

На другой день, рано поутру, Опальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные десять тысяч и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?»

С этих пор Опальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «что прикажете» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец, привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился об его тяжбе, сказав, что Опальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле, она в скором времени была решена в пользу Дубровина.

Дубровин прогуливался однажды с женою и Опальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на все необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы, по-настоящему, должно было построить дом, – сказал Дубровин, – я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новее, и где же лучше?» на другое утро крестьяне Опальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый, светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством.

Не буду рассказывать, по каком именно поводе Опальский помог ему развести сад, запастись тем и другим: дело в том, что каждое желание Дубровина было тотчас же исполнено.

Опальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку благоденствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы: «Благодарю вас, вы ко мне очень снисходительны!»

Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Опальского, что перстень был подарен ею одной из ее знакомок, которой принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным.

Дубровин расспрашивал об Опальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость; знали только, родился он в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропостижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший и которого он тотчас отпустил, ничего о нем не ведал.

Народные слухи были занимательнее. Покойный приходской дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Опальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Опальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве; признавался, что ему от роду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были рассказы, одни других замысловатее и нелепее; но ничто не объясняло таинственного перстня.

Беспреданно навещаемый Опальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не

застав его дома (Опальский собирал травы в окрестности), он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть:

*Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши; жизнь могла для него быть одним праздником... Две страсти – любопытство и любовь – довели его до гибели.*

*Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией (это было при Филиппе II), рано предался он преступным изысканиям: тайно беседовал с учеными, рылся в кабалистических книгах долго, безуспешно; наконец, край завесы начал перед ним подниматься.*

*Тут увидел он в первый раз донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию его взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонною, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно дон Педро де-ла-Савина владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками; он удалился, но не оставил надежды обладать ею.*

*Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу; он провел уже последнюю линию: напрасно!.. фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннею усмешкой он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака не доставало... покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза... Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи.*

*– Чего ты хочешь? – сказал он голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами, полными любовью... он призвал всю свою смелость.*

*– Хочу быть любим Мариюю, – отвечал он голосом твердым.*

*– Можешь, но с условием.*

Антонио задумался.

– Согласен! – сказал он, наконец, – но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания: тайна природы будет мне открыта?

– Будет, – отвечал дух. – Следуй за своей тенью. – Дух исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились: тень пошла, – Антонио за нею.

Антонио шел, как безумный, повинуюсь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось... Наконец, земля под ним вздрогнула... Яркие огни стали вылетать из нее одни за другим; вскоре наполнился ими воздух: они металась около Антонио, металась миллионами; но свет их не разогнал тьмы, его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бесчисленными правильными рядами окружили его на воздухе.

– Готов ли ты? – спросил его голос, выходящий из-под земли.

– Готов, – отвечал Антонио.

Огненная купель под ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую – такого же демона.

Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов! Ведьма и демон занимали место кумы и кума, отрекаясь за неопита Антонио от Бога, добра и спасения; адский хохот раздавался по временам вместо пения; страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятия гибели. Голова кружилась у Антонио; наконец, прежний свист раздался; все исчезло. Антонио упал в обморок, утро возвратило ему память, он взглянул на божий мир – глазами демона: так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну; он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии.

Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовью; шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки.

Лаская Марию, Антонио не оставлял свои кабалистические занятия; он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой: он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылили этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может, легким в сравнении с его преступлениями.

Антонио подарил его Марии; он ей открыл тайную его силу.

– Отныне нахожусь я в совершенном твоём подданстве, – сказал он ей, – как все земное, я сам подвластен этому перстню; не употребляй во зло моей доверенности; люби, о, люби меня, моя Мария!

Напрасно. На другой же день он нашел ее сидящей рядом с его соперником. На руке его был магический перстень.

– Что, проклятый чернокнижник, – закричал дон Педро, увидев входящего Антонио, – ты хотел разлучить меня с Марией, но попал в собственные сети. Вон отсюда! Жди меня в передней!

Антонио должен был повиноваться. Каким унижениям подвергнул его дон Педро! Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы. Мария стала супругою его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио: видеть Марию, которую любил, несмотря на ужасную ее измену. Дон Педро это заметил.

– Ты слишком заглядываешься на жену мою, – сказал он. – Присутствие твое мне надоело: я тебя отпускаю. – Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию. – Ты еще здесь? – закричал дон Педро. – Ступай, ступай, не останавливайся!

Роковые слова! Антонио пошел, но не мог уже остановиться; двадцать раз в продолжение ста пятидесяти лет обошел он землю. Грудь его давила усталость; голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям; Антонио не умирал, и ноги его все шагали. «Постой!» – закричал ему, наконец, какой-то голос. Антонио остановился, к нему подошел молодой путешественник. «Куда ведет эта дорога?» – спросил он его, указывая направо рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. «Туда-то...», – отвечал Антонио. «Благодарю», – сказал учтиво путешественник и оставил его. Антонио отдыхал от полторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего: он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стьли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух – Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя... Он стоял, мучился адскою жаждою, и смерть не прерывала его мучения. Пятьдесят лет провел он таким образом. Случай освободил его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тяжчайшей. Наконец...

Здесь прерывалась рукопись. Все страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Опальском. Дубровин нисколько не верил колдовству. Он терялся в догадках. «Как я глуп, – подумал он напоследок. – Это перевод какой-нибудь их этих модных повестей, в

которых чепуху выдают за гениальное своеобразие».

Он остался при этой мысли; прошло несколько месяцев. Наконец, Опальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Опальский был очень болен.

Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка.

– Марья Петровна, вы ли это? – вскричала Александра Павловна, обнимая вошедшую, довольно пожилую женщину. – Какими судьбами?

– Еду в Москву, моя милая, и, хотя ты семьдесят верст в стороне, заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька, – прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую вместе с нею. – Не узнаешь? Ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович, привел Бог еще раз увидеться!

Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину; мало-помалу дошли и до настоящего.

– Какой у вас прекрасный дом, – сказала Марья Петровна, – вы живете господами.

– Слава Богу! – отвечала Александра Павловна. – А чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Опальскому.

– И моему перстню, – прибавил Владимир Иванович.

– Какому Опальскому? Какому перстню? – вскричала Марья Петровна. – Я знала одного Опальского; помню и перстень... Да нельзя ли мне его видеть? – Дубровин подал ей перстень. – Тот самый, – продолжала Марья Петровна, – перстень этот мой, я потеряла его тому назад лет восемь... О, этот перстень напоминает мне много проказ! Да что за чудеса были с вами?.

Дубровин глядел на нее с удивлением, но передал ей свою повесть в том виде, в каком мы представляем ее нашим читателям. Марья Петровна помирала со смеху.

Все объяснилось. Марья Петровна была донна Мария, а сам Опальский, превращенный из Антона в Антонио, страдальцем таинственной повести. Вот как было дело: полк, в котором служил Опальский, стоял некогда в их околотке. Марья Петровна была то время молодой прекрасной девицей. Опальский, который тогда уже был слаб головою, увидел ее в первый раз на святках одетою испанкой, влюбился в нее и даже начинал ей нравиться, когда

она заметила, что мысли его не были совершенно здравы: разговор о

таинствах природы, сочинения Эккартсгаузена навели Опальского на предмет его помешательства, которого до той поры не подозревали самые его товарищи. Это открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили несчастную склонность его воображения; но он совершенно лишился ума, когда заметил, что Марья Петровна благосклонно слушает одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина (дон Педро де-ла-Савина), за которого она потом и вышла замуж. Он решительно предался магии. Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи: дворовый мальчик явился духом. Опальский до известного места в самом деле следовал за своею тенью. На это употребили очень простой способ: сзади его несли фонарь. Марья Петровна в то время была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. Она согласилась притвориться в него влюбленною. Он подарил ей свой таинственный перстень. Посредством его разным образом издевались над бедным чародеем: то посылали его верст за двадцать пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли целый день простоять на морозе. Всего рассказывать не нужно: читатель догадается, как он пересоздал все эти случаи своим воображением и как тяжелые минуты казались ему годами. Наконец, Марья Петровна над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее.

– Возьмите же ваш перстень, – сказал Дубровин, – с чужого коня и среди грязи долой.

– И, батюшка, что мне в нем? – отвечала Марья Петровна.

– Не шутите им, – прервала Александра Павловна, – он принес нам много счастья: может быть, и с вами будет то же.

– Я колдовству не верю, моя милая, а ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке: ее беде одно чудо поможет.

Дубровины знали, в чем было дело: Дашенька была влюблена в одного молодого человека, тоже страстно в нее влюбленного, но Дашенька была небогатая дворяночка, а родные его не хотели слышать об этой свадьбе; оба равно тосковали, а делать было нечего.

Тут прискакал посланный от Опальского и сказал Дубровину, что его барин желает как можно скорее его видеть.

– Каков Антон Исаич? – спросил Дубровин.

– Слава Богу, – отвечал слуга, – вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно, но теперь он здоров и спокоен.

Дубровин оставил своих гостей и поехал к Опальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с

чувством пожал руку Дубровину:

– Любезный Дубровин, – сказал он ему, – кончина моя приближается: мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся!.. Вы, верно, заметили расстройство моего воображения... Благодарю вас: вы не употребили его во зло, как другие, – вы утешили вашу дружбою бедного безумца!..

Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила.

– Преступления мои велики, – продолжал он после долгого молчания. – Так! Хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за временное... Но и мечтательные страдания мои были велики! Их возложит на весы свои Бог милосердный и праведный.

Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Дубровин оставил его наедине с Опальским.

– Он скончался, – сказал священник, выходя из комнаты. – Но успел совершить обязанность христианина. Господи, прими дух его с миром!

Опальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владельцем какого-то перстня; словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владелец перстня могли иметь бесконечную тяжбу.

Дубровины и Дашенька, тогдашняя владельница перстня, между собою не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Опальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят Бога помиловать душу их благодетеля.



## Михаил Николаевич Загоскин «Белое привидение»

1834

*Один из рассказов, входящих в цикл "Вечер на Хопре", который появился в журнале "Библиотека для чтения" в 1834 году. Большинство рассказов, составляющих это занимательное повествование, можно квалифицировать как "рассказы о чертовщине" (хотя во многих случаях возможно и рациональное истолкование описываемых событий). "Белое привидение" довольно резко выделяется на фоне прочих рассказов цикла: в нем четко сформулирована нетривиальная загадка и дана разгадка, реалистически разъясняющая истинную подоплеку происходящего. Таким образом, можно говорить о детективном, в сущности, сюжете этого небольшого рассказа, появившегося за семь лет до "Убийств на улице Морг".*

В сражении при Нови, где русские и французские войска под начальством Суворова разбили наголову французов, я находился с моим эскадроном при отряде, которым командовал любимец Суворова, генерал Милорадович. В ту самую минуту, как он повел вперед свою колонну, чтоб атаковать центр неприятельской армии, убило подо мною ядром лошадь, и я получил такую сильную контузию, что несколько часов сряду пролежал без памяти. После сражения меня отправили сначала в небольшой городок Акви, а потом перевезли в Турин, где я пролежал более двух недель в постели. Я довольно хорошо говорю по-итальянски и мог изредка беседовать с моим хозяином, но, несмотря на это, умирал от скуки и тоски. Когда мне сделалось легче и я стал прохаживаться по моей комнате, то мне посоветовали лечиться за городом. Это было в конце августа месяца, жары стояли несносные, и я сам чувствовал, что свежий деревенский воздух необходим для восстановления моего здоровья. Австрийский комендант отвел мне прекрасную квартиру верстах в десяти от города, на даче сеньора Леонардо Фразелани, богатого туринского купца. Я послал туда передовым моего денщика с квартирным билетом, а сам на другой день ранехонько поутру отправился в наемной карете и, остановясь на минуту полюбоваться великолепной площадью Св. Карла, выехал через предместье Борго-ди-По за город.

Я никогда не бывал в южной Италии, но если в ней климат и природа

лучше, чем в Пьемонте, так уж подлинно можно ее назвать земным раем и цветником всей Европы. Трудно и живописцу дать нам ясное понятие об этой яркой зелени полей, усыпанных благовонными цветами, об этих темно-синих и в то же время прозрачных небесах Италии, так мне нечего и говорить с вами об этом. Вы, дядюшка, бывали на Кавказе и в Крыму, следовательно, лучше другого поймете, с каким восторгом смотрел я на это безоблачное южное небо и цветущие окрестности города, усеянные рощами шелковичных деревьев. Мы, дети севера, воспитанные среди обширных полей и дремучих лесов нашей родины, привыкли с ребячества любить раздолье и простор; так вы можете себе представить, как я обрадовался, когда выехал за город и мог свободно дышать этим животворным деревенским воздухом, напитанным ароматами цветов. Я не успел отъехать двух верст от заставы, как почувствовал в себе такую перемену, что готов был хоть сейчас на коня, саблю вон и в атаку. Мне было так легко, так весело... О! Без всякого сомнения, противоположности необходимы для нашего земного счастья! Если бы я не просидел несколько недель в тесной комнате, в которой, как в аптеке, все пропахло лекарством, если б мрачный и узкий переулок, в который никогда не заглядывало солнышко, не был единственным видом, коим я любовался из моих окон, то вряд ли бы в жизни моей нашлось несколько часов сряду совершенного, не отравленного ничем благополучия. Миновав потешный дворец, называемый *Королевским виноградником*, я выпрыгнул из кареты и пошел пешком. Мой жадный взор обегал свободно и униженные загородными домами холмистые берега реки По, и обширную равнину, которая оканчивалась к северу высокими Пьемонтскими горами. Вблизи, с правой стороны, на Капуцинской горе возвышалась готическая церковь монастыря; позади, еще выше, сквозь темную зелень оливковых деревьев белелись зубчатые стены Камальдульской пустыни, а прямо передо мною, вдали, прорезывая утренний туман, плавал как на облаках огромный купол *Сюперги* – сей знаменитой соперницы колоссального Петра и Павла в Риме. С каждым шагом вперед горизонт расширялся, и я, очарованный живописными видами, которые следовали непрерывно один за другим, не заметил, как прошел верст пять перед моей каретой: она тащилась за мной шагом по большой дороге. «Э, гей! Синьор официале, синьор официале! – закричал мой кучер. – Маледетто!<sup>[1]</sup> Синьор официале!» Я обернулся: карета стояла у самого въезда в тенистую аллею из пирамидальных тополей, шагах в двухстах от большой дороги, она примыкала к густой каштановой роще. Я воротился и, продолжая идти пешком впереди моей кареты, в несколько минут достиг до рощи и потом прямой просекою

вышел опять на открытое место, сельский и спокойный вид которого так мне понравился, что я остановился на минутку им полюбоваться. Представьте себе широкую долину, посреди которой змеилась излучистая речка, огибая в своем течении несколько высоких холмов, поросших сплошным кустарником; она вливалась в светлое озеро с покатыми берегами, которые без всякого преувеличения можно было назвать персидскими коврами, так они были испещрены бесчисленным множеством самых ярких и разнообразных цветов! Прямо против каштановой рощи, из которой я вышел, на самом берегу озера, проглядывал сквозь померанцевых деревьев и густых кустов благовонной акации одноэтажный дом с плоскою кровлею и красивым портиком; гибкие виноградные лозы обвивались около колонн, которые поддерживали мраморный фронтон, и на всех окнах стояли фарфоровые вазы с цветами. Позади дома, во всю ширину двора, тянулся длинный флигель с широкими итальянскими окнами. Лицевой его фасад был обращен на двор, а противоположная сторона выходила в сад, который окружал с трех сторон и дом, и все принадлежащие к нему строения. От самой каштановой рощи начинался обширный луг, по которому извивалась речка, впадающая в озеро. Пять-шесть крестьянских изб, разбросанных в живописном беспорядке, красивая мельница на ручье, несколько коров и резвых коз, рассыпанных по лугу, и миловидная девушка, которая, зачерпнув воды, несла ее на ту пору в глиняном кувшине на своей голове, оживляли эту сельскую, исполненную прелести картину. «Да это настоящая идиллия в лицах! – вскричал я, невольно посмотрев вокруг себя. – Жаль только, что недостает пастуха и пастушки. Ага! Да вон и они!» – продолжал я, увидев под одним кустом молодого человека, который сидел на траве рядом с девушкой лет шестнадцати. Они оба были одеты просто, по-деревенскому, но отменно щеголевато; и если бы соломенная шляпка, в которой была девушка, попала в Москву на Кузнецкий мост, так, уверяю вас, она недолго бы залежалась в модном магазине. Молодой человек был недурен собою, а его подруга... О, такое мило видное, выразительное лицо, такие черные, пламенные глаза можно только встретить в одной Италии! «Позвольте спросить, – сказал я, подойдя к этим нежным голубкам, которые о чем-то вполголоса ворковали меж собою, – ведь это дача синьора Фразелини?» Девушка вскрикнула, ударилась бежать, и, прежде чем я успел окончить мой вопрос, ее и след простыл. Молодой человек также смутился, но отвечал очень вежливо: «Точно так, синьор официале! Это поместье принадлежит Леонарду Фразелини, если угодно, я вас провожу до дому». Я пошел вслед за ним по берегу речки, а карета поехала по дороге,

которая шла прямо через луг на широкую плотину, устроенную повыше мельницы. Когда мы перешли через ручей по красивому китайскому мостику, я спросил молодого человека, не сын ли он помещика?

– Извините, синьор официале! – отвечал он. – Я Корнелио Аничети, родной его племянник.

– А красавица, с которой вы сидели под кустом, верно, сестра ваша!

Смуглые щеки Корнелио вспыхнули.

– Нет! – сказал он отрывисто. – Это камериора моей тетки.

– Неужели? Она так хорошо одета, что я подумал... А как зовут эту прекрасную служаночку?

– Челестиною.

– Она очень мила.

Корнелио посмотрел на меня пристально, и, признаюсь, для моего самолюбия приятно было заметить, что этот инспекторский смотр не очень его успокоил.

– Да! – сказал он наконец. – Это правда, Челестина мила, но она очень дика и, сверх того, извините, синьор официале, терпеть не может иностранцев. Но вот и дядюшка идет к нам навстречу, – прибавил он, указывая на человека пожилых лет с приятной и почтенной наружностью.

Хозяин принял и обласкал меня как родного, а жена его, синьора Аурелия, долго не могла опомниться от удивления при виде варвара русского, который отпустил ей с полдюжины комплиментов на самом чистом тосканском наречии. В продолжение всего дня я не видел никого, кроме моих хозяев, их племянника, проворного слуги Убальдо и безобразной старухи, которую называли Петронеллою. Под вечер, когда мы все сидели на дворе, появилась наконец Челестина. Она уселась смирехонько в одном углу, на низенькой скамейке, и так занялась каким-то рукоделем, что я не мог даже полюбоваться ее черными глазами, – она ни разу не подняла их кверху. Разговаривая со мною, синьора Аурелия сказала между прочим, что она не знает, понравится ли мне приготовленная для меня комната.

– Вам надобен покой, – говорила она, – а ваша горница рядом с нашей спальнею; мы встаем очень рано и можем вас потревожить.

– О, что касается до меня, – отвечал я, – обо мне не хлопчите! Я боюсь только, чтоб мне вас не беспокоить. Да нет ли в этом флигеле лишней комнаты? – продолжал я, указывая на длинное строение с итальянскими окнами.

– В нем все комнаты свободны, – сказал хозяин, – да он и выстроен для моих гостей; но с некоторого времени... – Тут синьор Фразелини

остановился и, взглянув значительно на жену свою, замолчал.

– С некоторого времени? – прервал я. – А что такое?..

– В нем никто не живет.

– А для чего?

– Да как бы вам сказать? Ведь вы, господа военные, ничему не верите.

В этом флигеле поселились нечистые духи.

Я засмеялся.

– Смейтесь, синьор официале, смейтесь! А это точно так же правда, как то, что я имею честь говорить с вами об этом. Месяца два тому назад заметили, что во флигеле бывает по ночам какой-то странный шум и раздаются жалобные стоны; но это бы еще ничего: почти каждую ночь, часу в двенадцатом, иногда ранее, иногда позднее, по всему флигелю ходит высокое белое привидение с фонарем в руках. Я сам несколько раз видел – вот из этой комнаты, – как оно прогуливается взад и вперед мимо всех окон.

– И вам ни разу не приходило в голову, – прервал я, – что это проказит какой-нибудь шалун?

– Как не приходите; но тут есть одно обстоятельство, которое разрушает все мои догадки. Надобно вам сказать, что комнаты в этом флигеле расположены точно так же, как кельи в монастыре. Во всю его длину устроен длинный коридор, из которого десятью дверьми входят в столько же особых комнат, отделенных одна от другой капитальными стенами, и, чтоб перейти из одной комнаты в другую, необходимо надобно выйти прежде в коридор. Вы завтра можете во всем этом увериться сами. Теперь прошу вас растолковать мне, каким образом обыкновенный человек, а не дух или привидение, будет расхаживать во всю длину флигеля мимо окон, не останавливаясь ни на минуту, идя ровным шагом; словом, прогуливаясь свободно взад и вперед, как по одной длинной галерее, в которой нет никаких перегородок? Тут, кажется, долго рассуждать нечего: или между комнат есть прямое сообщение, или никакие преграды для него не существуют, и он проходит сквозь капитальную стену точно так, как мы в растворенные двери. Никаких сообщений и дверей между комнат нет; в этом, повторяю еще раз, вы сами можете завтра увериться: следовательно, этот ночной посетитель не проказник, не шалун, а просто или нечистый дух, или неотпетый мертвец, или, что всего вернее, какая-нибудь христианская душа, которая страдает в чистилище и нуждается в наших молитвах. Здесь все уверены, что это душа бедного Паоло, бывшего моего садовника, который прошлую зиму удавился в этом флигеле. Сначала нас очень это тревожило, но теперь мы уже привыкли; впрочем, до сих пор,

кроме племянника, никто не вызывался переночевать в этом флигеле. Правда, и ему это даром не прошло: привидение точно так же, как и всегда, прогуливалось по комнатам, а он до того напугался, что всю ночь пролежал без памяти.

В продолжение сего рассказа я заметил две вещи: во-первых, то, что племянник хозяина вспыхнул, когда речь дошла до него, а во-вторых, что хотя синьор Фразелини и синьора Аурелия твердо были уверены, что в их флигеле поселились жители не нашего мира, но что, несмотря на это, в одной с нами комнате кроме меня были еще люди, которые не очень этому верили. Я сидел против большого зеркала; в нем отражалось все, что было у меня за спиной, то есть и вся противоположная стена, и двери, подле которых стоял слуга Убальдо, и уголок, в котором сидела красавица Челестина. Раза два я подметил, что их взгляды встречались меж собою и что следствием этой встречи была всегда какая-то значительная улыбка, которую разгадать было вовсе не трудно. «Ну! – подумал я. – Побьюсь об заклад, что эта плутовка Челестина знает лучше своих господ, как мертвецы проходят сквозь капитальные стены». Поговорив еще несколько времени об этом странном случае, я простился с моими хозяевами и отправился в мою комнату. От перемены места или от чего другого, только мне вовсе не спалось. Из комнаты моей можно было видеть весь флигель. Вот этак немного за полночь одно окно во флигеле осветилось; я вскочил с постели и, точно, видел своими глазами, что какое-то привидение в белом саване с фонарем в руках прошло раза три вдоль всего флигеля мимо самых окон и не останавливаясь ни на одну минуту. Что это был обман – я не сомневался; что причины этого обмана были самые земные – и в этом я был также уверен; но как это происходило и в чем состоял сей оптический обман – вот уж этого я не мог никак постигнуть. Я думал, думал, и если привидение не напугало меня, то все-таки по милости его я не мог заснуть во всю ночь. Не видя никакой пользы вертеться с боку на бок, я с первым светом встал с постели, оделся и пошел гулять по саду. Утренняя заря начинала только заниматься; все спали в доме, кроме вашего покорного слуги и какой-то ранней пташечки, которая пропорхнула мимо меня в ту самую минуту, как я стал подходить к садовой стороне флигеля. «Ага! – подумал я. – Вот что! Если б в этих комнатах не поселились нечистые духи, так жили бы люди, – понимаю! Ну, господин Корнелио, порядком же вы морочите вашего дядюшку!»

Весь этот день провел я по-прежнему с моими дорогими хозяевами: думал о моей утренней встрече, о белом привидении и наконец как будто бы попал на истинный путь. Мне оставалось увериться, справедливы ли

мои догадки, и в то же время, не делая вреда никому, избежать, если можно, моего гостеприимного хозяина от этих ночных посещений. После ужина я заперся в свою комнату и часу в двенадцатом ночи, обернувшись с головы до ног в белую простыню, прокрался потихоньку в сад и подошел к флигелю. Представление уже началось; хотя я зашел не с той стороны, но отгадал это потому, что двери были отперты и что на дворе полусонный сторож начал громким голосом творить молитву. Я потихоньку взобрался на лестницу и спрятался в темном углу в коридоре. Через минуту все догадки мои оправдались. «Постойте же, господа артисты! – сказал я про себя. – Вас надобно так пугнуть, чтоб вам и в голову не пришло играть в другой раз эту комедию». В коридоре стоял деревянный стул; я взмогился на него, опустил в плоть до полу мою простыню и заохал таким нечеловеческим образом, что почти сам испугался. Вдруг из двух комнат выскочили два белых привидения... О, ужас! Точно такое же третье привидение, только гораздо огромное, стоит перед ними неподвижно, испуская тяжкие, могильные стоны. «Кто ты?» – раздался трепещущий и весьма знакомый мне голос. «Молитесь за меня! – проговорил я протяжно. – Я самоубийца, я грешник Паоло!» Батюшки мои, как бросились от меня эти два несчастных привидения! Они кубарем скатились с лестницы, растеряли свои белые мантии, и я вовсе не удивился, когда хозяин сказал мне на другой день, что слуга его Убальдо и племянник Корнелио занемогли оба ночью и лежат в постели. Я перешел во флигель, прожил в нем преспокойно два месяца, и уверяю вас, дядюшка, что во все это время белое привидение ни разу не приходило ко мне в гости.

—

– Ну, брат, молодец же ты! – сказал Иван Алексеевич. – Только, воля твоя, я все порядком в толк не возьму... Ты говоришь, что их было двое... так что ж?..

– А вот что, дядюшка. Они оба были одеты одинаким образом и оба с потайными фонарями. Когда один из них, начав идти вдоль первой комнаты, доходил до стены, которая отделяла его от второго покоя, то в ту же минуту прятал огонь и, ударив кулаком в стену, выбегал в коридор; потом, войдя в третью комнату, прижимался к стене. Второе привидение, услышав сигнал, открывало свой фонарь и начинало идти мимо окон до самой стены третьего покоя, из которого продолжало эту прогулку опять первое привидение, и так далее, до конца флигеля. Все это было у них так

улажено, что всякий подумал бы, что мимо окон прошла одна и та же фигура, и со двора решительно невозможно было заметить этого обмана.

– Ну, хитро придумано!.. Что и говорить, на свете много обману! Конечно, как иногда не посомниться, не поразмыслить – у каждого свой царь в голове, но не верить ничему и во всем сомневаться...

– Видит Бог, грешно! – прервал Кольчугин, раскрыв снова свои молчаливые уста. – Покойный мой батюшка, дай Бог ему царство небесное, вздумал также однажды поумничать, да так-то невпопад, что после дал зарок ни в чем не сомневаться и всему на свете верить.

– А что такое с ним сделалось? – спросил хозяин.

– Да так, батюшка, был случай такой! Он не один раз мне сам изволил об этом рассказывать.

– А ты, любезный, расскажи нам.

– Рассказать не фигура, только дело-то такое курьезное, что, того и гляди, эти господа на зубки меня подымут, – промолвил Кольчугин, указывая на Заруцкого и Черемухина. – Да, пожалуй, чего доброго, и покойнику батюшке достанется.

– И, сударь, – прервал я, подвигаясь к Кольчугину, – какое вам до них дело! Рассказывайте.

– Да, да! – подхватил хозяин. – Что тебе на них смотреть! Рассказывай!

– Ну, если вам угодно, так слушайте!



## Антон Павлович Чехов «Шведская спичка»

1883

*Обычно это произведение молодого Чехова, написанное еще до появления на сцене Шерлока Холмса, квалифицируют как пародию на уголовный рассказ. И с этим не поспоришь, так оно и есть. Так же охарактеризовал его и сам автор в письме к Лейкину. Однако свою пародийную сущность повествование раскрывает лишь на предпоследней странице, а до этих пор оно воспринимается как стандартный криминальный рассказ той эпохи, рассказ в духе Габорио - одного из видных предшественников современного детектива.*

### I

Утром 6 октября 1885 г. в канцелярию станового пристава 2-го участка С-го уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов, убит. Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне взволнован. Руки его дрожали и глаза были полны ужаса.

– С кем я имею честь говорить? – спросил его становой.

– Псеков, управляющий Кляузова. Агроном и механик.

Становой и понятые, прибывшие вместе с Псековым на место происшествия, нашли следующее. Около флигеля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. Весть о происшествии с быстротою молнии облетела окрестности, и народ, благодаря праздничному дню, стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял шум и говор. Кое-где попадались бледные, заплаканные физиономии. Дверь в спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчал ключ.

– Очевидно, злодеи пробрались к нему через окно, – заметил при осмотре двери Псеков.

Пошли в сад, куда выходило окно из спальни. Окно глядело мрачно, зловеще. Оно было занавешено зеленой полинялой занавеской. Один угол занавески был слегка заворочен, что давало возможность заглянуть в спальню.

– Смотрел ли кто-нибудь из вас в окно? – спросил становой.

– Никак нет, ваше высокородие, – сказал садовник Ефрем, маленький седовласый старичок с лицом отставного унтера. – Не до гляденья тут, коли все поджилки трясутся!

– Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! – вздохнул становой, глядя на окно. – Говорил я тебе, что ты плохим кончишь! Говорил я тебе, сердяге, – не слушался! Распутство не доводит до добра!

– Спасибо Ефрему, – сказал Псеков, – без него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здесь что-то не так. Приходит сегодня ко мне утром и говорит: «А отчего это наш барин так долго не просыпается? Целую неделю из спальни не выходит!» Как сказал он мне это, меня точно кто обухом... Мысль сейчас мелькнула... Он не показывался с прошлой субботы, а ведь сегодня воскресенье! Семь дней – шутка сказать!

– Да, бедняга... – вздохнул еще раз становой. – Умный малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распутник, царствие ему небесное! Я всего ожидал! Степан, – обратился становой к одному из понятых, – съезди сию минуту ко мне и пошли Андриюшку к исправнику, пуцай доложит! Скажи: Марка Иваныча убили! Да забеги к уряднику – чего он там прохлаждается? Пуцай сюда едет! А сам ты поезжай, как можно скорее, к следователю Николаю Ермолаичу и скажи ему, чтобы ехал сюда! Постой, я ему письмо напишу.

Становой расставил вокруг флигеля сторожей, написал следователю письмо и пошел к управляющему пить чай. Минут через десять он сидел на табурете, осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, чай.

– Вот-с... – говорил он Псекову. – Вот-с... Дворянин, богатый человек... любимец богов, можно сказать, как выразился Пушкин, а что из него вышло? Ничего! Пьянствовал, распутничал и... вот-с!.. убили.

Через два часа прикатил следователь. Николай Ермолаевич Чубиков (так зовут следователя), высокий, плотный старик лет шестидесяти, подвизается на своем поприще уже четверть столетия. Известен всему уезду как человек честный, умный, энергичный и любящий свое дело. На место происшествия прибыл с ним и его неперменный спутник, помощник и письмоводитель Дюковский, высокий молодой человек лет двадцати шести.

– Неужели, господа? – заговорил Чубиков, входя в комнату Псекова и наскоро пожимая всем руки. – Неужели? Марка Иваныча? Убили? Нет, это невозможно! Не-воз-мож-но!

– Подите же вот... – вздохнул становой.

– Господи ты боже мой! Да ведь я же его в прошлую пятницу на

ярмарке в Тарабанькове видел! Я с ним, извините, водку пил!

– Подите же вот... – вздохнул еще раз становой.

Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю.

– Расступись! – крикнул урядник народу.

Войдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновою, выкрашенной в желтую краску и неповрежденной. Особых примет, могущих послужить какими-либо указаниями, найдено не было. Приступлено было ко взлому.

– Прошу, господа, лишних удалиться! – сказал следователь, когда после долгого стука и треска дверь уступила топору и долоту. – Прошу это в интересах следствия... Урядник, никого не впускать!

Чубиков, его помощник и становой открыли дверь и нерешительно, один за другим, вошли в спальню. Их глазам представилось следующее зрелище. У единственного окна стояла большая деревянная кровать с огромной пуховой периной. На измятой перине лежало скомканное измятое одеяло. Подушка в ситцевой наволочке, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столике перед кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета двадцатикопеечного достоинства. Тут же лежали и серные спички. Кроме кровати, столика и единственного стула, другой мебели в спальне не было. Заглянув под кровать, становой увидел десятка два пустых бутылок, старую соломенную шляпу и четверть водки. Под столиком валялся один сапог, покрытый пылью. Окинув взглядом комнату, следователь нахмурился и покраснел.

– Мерзавцы! – пробормотал он, сжимая кулаки.

– А где же Марк Иваныч? – тихо спросил Дюковский.

– Прошу вас не вмешиваться! – грубо сказал ему Чубиков. – Извольте осмотреть пол! Это второй такой случай в моей практике, Евграф Кузьмич, – обратился он к становому, понизив голос. – В 1870 году был у меня тоже такой случай. Да вы, наверное, помните... Убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавцы убили и вытащили труп через окно...

Чубиков подошел к окну, отдернул в сторону занавеску и осторожно пихнул окно. Окно отворилось.

– Отворяется, значит не было заперто... Гм!.. Следы на подоконнике. Видите? Вот след от колена... Кто-то лез оттуда... Нужно будет как следует осмотреть окно.

– На полу ничего особенного не заметно, – сказал Дюковский. – Ни пятен, ни царапин. Нашел одну только обгоревшую шведскую спичку. Вот она! Насколько я помню, Марк Иваныч не курил; в общегитии же он

употреблял серные спички, отнюдь же не шведские. Эта спичка может служить уликой...

– Ах... замолчите, пожалуйста! – махнул рукой следователь. – Лезет со своей спичкой! Не терплю горячих голов! Чем спички искать, вы бы лучше постель осмотрели!

По осмотре постели Дюковский отрапортовал:

– Ни кровяных, ни каких-либо других пятен... Свежих разрывов также нет. На подушке следы зубов. Одеяло облито жидкостью, имеющей запах пива и вкус его же... Общий вид постели дает право думать, что на ней происходила борьба.

– Без вас знаю, что борьба! Вас не о борьбе спрашивают. Чем борьбу-то искать, вы бы лучше...

– Один сапог здесь, другого же нет налицо.

– Ну, так что же?

– А то, что его задушили, когда он снимал сапоги. Не успел он снять другого сапога, как...

– Понес!.. И почему вы знаете, что его задушили?

– На подушке следы зубов. Сама подушка сильно помята и отброшена от кровати на два с половиной аршина.

– Толкует, пустомеля! Пойдемте-ка лучше в сад. Вы бы лучше в саду посмотрели, чем здесь рыться... Это я и без вас сделаю.

Придя в сад, следствие прежде всего занялось осмотром травы. Трава под окном была помята. Куст репейника под окном у самой стены оказался тоже помятым. Дюковскому удалось найти на нем несколько поломанных веточек и кусочек ваты. На верхних головках были найдены тонкие волоски темно-синей шерсти.

– Какого цвета был его последний костюм? – спросил Дюковский у Псекова.

– Желтый, парусиновый.

– Отлично. Они, значит, были в синем.

Несколько головок репейника было срезано и старательно заворочено в бумагу. В это время приехали исправник Арцыбашев-Свистаковский и доктор Тютюев. Исправник поздоровался и тотчас же принялся удовлетворять свое любопытство; доктор же, высокий и в высшей степени тощий человек со впалыми глазами, длинным носом и острым подбородком, ни с кем не здороваясь и ни о чем не спрашивая, сел на пень, вздохнул и проговорил:

– А сербы опять взбудоражились! Что им нужно, не понимаю! Ах, Австрия, Австрия! Твои это дела!

Осмотр окна снаружи не дал решительно ничего; осмотр же травы и ближайших к окну кустов дал следствию много полезных указаний. Дюковскому удалось, например, проследить на траве длинную темную полосу, состоявшую из пятен и тянувшуюся от окна на несколько сажен в глубь сада. Полоса заканчивалась под одним из сиреневых кустов большим темно-коричневым пятном. Под тем же кустом был найден сапог, который оказался парой сапога, найденного в спальне.

– Это давнишняя кровь! – сказал Дюковский, осматривая пятна.

Доктор при слове «кровь» поднялся и лениво, мельком взглянул на пятна.

– Да, кровь, – пробормотал он.

– Значит, не задушен, коли кровь! – сказал Чубиков, язвительно поглядев на Дюковского.

– В спальне его задушили, здесь же, боясь, чтобы он не ожил, его ударили чем-то острым. Пятно под кустом показывает, что он лежал там относительно долгое время, пока они искали способов, как и на чем вынести его из сада.

– Ну, а сапог?

– Этот сапог еще более подтверждает мою мысль, что его убили, когда он снимал перед сном сапоги. Один сапог он снял, другой же, то есть этот, он успел снять только наполовину. Наполовину снятый сапог во время тряски и падения сам снялся...

– Сообразительность, посмотришь! – усмехнулся Чубиков. – Так и режет, так и режет! И когда вы отучитесь лезть со своими рассуждениями? Чем рассуждать, вы бы лучше взяли для анализа немного травы с кровью!

По осмотре и снятии плана местности следствие отправилось к управляющему писать протокол и завтракать. За завтраком разговорились.

– Часы, деньги и прочее... всё цело, – начал разговор Чубиков. – Как дважды два четыре, убийство совершено не с корыстными целями.

– Совершено человеком интеллигентным, – вставил Дюковский.

– Из чего же это вы заключаете?

– К моим услугам шведская спичка, употребления которой еще не знают здешние крестьяне. Употребляют такие спички только помещики, и то не все. Убивал, кстати сказать, не один, а минимум трое: двое держали, а третий душил. Кляззов был силен, и убийцы должны были знать это.

– К чему могла послужить ему его сила, ежели он, положим, спал?

– Убийцы застали его за сниманием сапог. Снимал сапоги, значит не спал.

– Нечего выдумывать! Ешьте лучше!

– А по моему понятию, ваше высокоблагородие, – сказал садовник Ефрем, ставя на стол самовар, – пакость эту самую сделал никто другой, как Николашка.

– Весьма возможно, – сказал Псеков.

– А кто этот Николашка?

– Баринов камердинер, ваше высокоблагородие, – отвечал Ефрем. – Кому другому, как не ему? Разбойник, ваше высокоблагородие! Пьяница и распутник такой, что и не приведи царица небесная! Барину он водку всегда носил, барина он укладывал в постелью... Кому же, как не ему? А еще тоже, смею предположить вашему высокоблагородию, похвалялся раз, шельма, в кабаке, что барина убьет. Из-за Акульки всё вышло, из-за бабы... Была у него солдатка такая... Барину она понравилась, они ее к себе приблизили, ну, а он... известно, осерчал... На кухне пьяный валяется теперь. Плачет... Врет, что барина жалко...

– А действительно, из-за Акульки можно осерчать, – сказал Псеков. – Она солдатка, баба, но... Недаром Марк Иваныч прозвал ее Наной. В ней есть что-то, напоминающее Нану... привлекательное...

– Видал... Знаю... – сказал следователь, сморкаясь в красный платок.

Дюковский покраснел и опустил глаза. Становой забарабанил пальцем по блюдечку. Исправник закашлялся и полез зачем-то в портфель. На одного только доктора, по-видимому, не произвело никакого впечатления напоминание об Акульке и Нане. Следователь приказал привести Николашку. Николашка, молодой долговязый парень с длинным рябым носом и впалой грудью, в пиджаке с барского плеча, вошел в комнату Псекова и поклонился следователю в ноги. Лицо его было сонно и заплакано. Сам он был пьян и еле держался на ногах.

– Где барин? – спросил его Чубиков.

– Убили, ваше высокоблагородие.

Сказав это, Николашка замигал глазами и заплакал.

– Знаем, что убили. А где он теперь? Тело-то его где?

– Сказывают, в окно вытащили и в саду закопали.

– Гм!.. О результатах следствия уже известно на кухне... Скверно. Любезный, где ты был в ту ночь, когда убили барина? В субботу, то есть?

Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и задумался.

– Не могу знать, ваше высокоблагородие, – сказал он. – Был выпимши и не помню.

– *Alibi!* – шепнул Дюковский, усмехаясь и потирая руки.

– Так-с. Ну, а отчего это у барина под окном кровь? Николашка задрал вверх голову и задумался.

– Скорей думай! – сказал исправник.

– Сичас. Кровь эта от пустяка, ваше высокоблагородие. Курицу я резал. Я ее резал очень просто, как обыкновенно, а она возьми да и вырвись из рук, возьми да побеги... От этого самого и кровь.

Ефрем показал, что, действительно, Николашка каждый вечер режет кур и в разных местах, но никто не видел, чтобы недорезанная курица бегала по саду, чего, впрочем, нельзя отрицать безусловно.

– *Alibi*, – усмехнулся Дюковский. – И какое дурацкое *alibi*!

– С Акулькой знавался?

– Был грех.

– А барин у тебя сманил ее?

– Никак нет. У меня Акульку отбили вот они-с, господин Псеков, Иван Михайлыч-с, а у Ивана Михайлыча отбил барин. Так дело было.

Псеков смутился и принялся чесать себе левый глаз. Дюковский впился в него глазами, прочел смущение и вздрогнул. На управляющем увидел он синие панталоны, на которые ранее не обратил внимания. Панталоны напомнили ему о синих волосках, найденных на репейнике. Чубиков, в свою очередь, подозрительно взглянул на Псекова.

– Ступай! – сказал он Николашке. – А теперь позвольте вам задать один вопрос, г. Псеков. Вы, конечно, были в субботу под воскресенье здесь?

– Да, в десять часов я ужинал с Марком Иванычем.

– А потом?

Псеков смутился и встал из-за стола.

– Потом... потом... Право, не помню, – забормотал он. – Я много выпил тогда... Не помню, где и когда уснул... Чего вы на меня все так смотрите? Точно я убил!

– Где вы проснулись?

– Проснулся в людской кухне на печи... Все могут подтвердить. Как я попал на печь, не знаю...

– Вы не волнуйтесь... Акулину вы знали?

– Ничего нет тут особенного...

– От вас она перешла к Клязову?

– Да... Ефрем, подай еще грибов! Хотите чаю, Евграф Кузьмич?

Наступило молчание – тяжелое, жуткое, длившееся минут пять. Дюковский молчал и не отрывал своих колючих глаз от побледневшего лица Псекова. Молчание нарушил следователь.

– Нужно будет, – сказал он, – сходить в большой дом и поговорить там с сестрой покойного, Марьей Ивановной. Не даст ли она нам каких-либо

указаний.

Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом. Сестру Клязуова, Марью Ивановну, сорокапятилетнюю деву, застали они молящейся перед высоким фамильным киотом. Увидев в руках гостей портфели и фуражки с кокардами, она побледнела.

– Приношу прежде всего извинение за нарушение, так сказать, вашего молитвенного настроения, – начал, расшаркиваясь, галантный Чубиков. – Мы к вам с просьбой. Вы, конечно, уже слышали... Существует подозрение, что ваш братец, некоторым образом, убит. Божья воля, знаете ли... Смерти не миновать никому, ни царям, ни пахарям. Не можете ли вы помочь нам каким-либо указанием, разъяснением...

– Ах, не спрашивайте меня! – сказала Марья Ивановна, еще более бледнея и закрывая лицо руками. – Ничего я не могу вам сказать! Ничего! Умоляю вас! Я ничего... Что я могу? Ах, нет, нет... ни слова про брата! Умирать буду, не скажу!

Марья Ивановна заплакала и ушла в другую комнату. Следователи переглянулись, пожали плечами и ретировались.

– Чёртова баба! – выругался Дюковский, выходя из большого дома. – По-видимому, что-то знает и скрывает. И у горничной что-то на лице написано... Пойдите же, черти! Всё разберем!

Вечером Чубиков и его помощник, освещенные бледнолицей луной, возвращались к себе домой; они сидели в шарабане и подводили в своих головах итоги минувшего дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиков вообще не любил говорить в дороге, болтун же Дюковский молчал в угоду старику. В конце пути, однако, помощник не вынес молчания и заговорил:

– Что Николашка причастен в этом деле, – сказал он, – *non dubitandum est*.<sup>[2]</sup> И по роже его видно, что он за штука... *Alibi* выдает его с руками и ногами. Нет также сомнения, что в этом деле не он инициатор. Он был только глупым, нанятым орудием. Согласны? Не последнюю также роль в этом деле играет и скромный Псеков. Синие панталоны, смущение, лежанье на печи от страха после убийства, *alibi* и Акулька.

– Мели, Емеля, твоя неделя. По-вашему, значит, тот и убийца, кто Акульку знал? Эх, вы, горячка! Соску бы вам сосать, а не дела разбирать! Вы тоже за Акулькой ухаживали, – значит и вы участник в этом деле?

– У вас тоже Акулька месяц в кухарках жила, но... я ничего не говорю. В ночь под то воскресенье я играл с вами в карты, видел вас, иначе бы я и к вам придрался. Дело, батенька, не в бабе. Дело в подленьком, гаденьком, скверненьком чувстве... Скромному молодому человеку не понравилось, видите ли, что не он верх взял. Самолюбие, видите ли... Мстить



захотелось. Потом-с... Толстые губы его сильно говорят о чувственности. Помните, как он губами причмокивал, когда Акульку с Наной сравнивал? Что он, мерзавец, сгорает страстью – несомненно! Итак: оскорбленное самолюбие и неудовлетворенная страсть. Этого достаточно для того, чтобы совершить убийство. Двое в наших руках; но кто же третий? Николашка и Псеков держали. Кто же душил? Псеков робок, конфузлив, вообще трус. Николашки же не умеют душить подушкой; они действуют топором, обухом... Душил кто-то третий, но кто он?

Дюковский нахлобучил на глаза шляпу и задумался. Молчал он до тех пор, пока шарaban не подъехал к дому следователя.

– Эврика! – сказал он, входя в домик и снимая пальто. – Эврика, Николай Ермолаич! Не знаю только, как мне это раньше в голову не пришло. Знаете, кто третий?

– Отстаньте, пожалуйста! Вон ужин готов! Садитесь ужинать!

Следователь и Дюковский сели ужинать. Дюковский налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказал:

– Так знайте же, что третий, действовавший заодно с негодяем Псековым и душивший, – была женщина! Да-с! Я говорю о сестре убитого, Марье Ивановне!

Чубиков поперхнулся водкой и уставил глаза на Дюковского.

– Вы... не тово? Голова у вас... не тово? Не болит?

– Я здоров. Хорошо, пусть я с ума сошел, но чем вы объясните ее смущение при нашем появлении? Как вы объясните ее нежелание давать показания? Допустим, что это пустяки – хорошо! ладно! – так вспомните про их отношения! Она ненавидела своего брата! Она староверка, он развратник, безбожник... Вот где гнездится ненависть! Говорят, что он успел убедить ее в том, что он аггел сатаны. При ней он занимался спиритизмом!

– Ну, так что же?

– Вы не понимаете? Она, староверка, убила его из фанатизма! Мало того, что она убила плевел, развратника, она освободила мир от антихриста – и в этом, мнит она, ее заслуга, ее религиозный подвиг! О, вы не знаете этих старых дев, староверок! Прочитайте-ка Достоевского! А что пишут Лесков, Печерский!.. Она и она, хоть зарежьте! Она душила! О, ехидная баба! Разве не затем только стояла она у икон, когда мы вошли, чтобы отвести нам глаза? Дай, мол, стану и буду молиться, а они подумают, что я покойна, что я не ожидаю их! Это метод всех преступников-новичков. Голубчик, Николай Ермолаич! Родной мой! Отдайте мне это дело! Дайте мне лично довести его до конца! Милый мой! Я начал, я и до конца доведу!

Чубиков замотал головой и нахмурился.

– Мы и сами умеем трудные дела разбирать, – сказал он. – А ваше дело не лезть, куда не следует. Пишите себе под диктовку, когда вам диктуют, – вот ваше дело!

Дюковский вспыхнул, хлопнул дверью и вышел.

– Умница, шельма! – пробормотал, глядя ему вслед, Чубиков. – Большая умница! Горяч только некстати. Нужно будет ему на ярмарке портсигар в презент купить...

На другой день утром к следователю был приведен из Кляузовки молодой парень с большой головой и заячьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, дал очень интересное показание.

– Был я выпимши, – сказал он. – До полночи у кумы просидел. Идучи домой, спяна полез в реку купаться. Купаюсь я... глядь! Идут по плотине два человека и что-то черное несут. «Тю!» – крикнул я на них. Они испужались и что есть духу давай стрекача к макарьевским огородам. Побей меня бог, коли то не барина волокли!

В тот же день перед вечером Псеков и Николашка были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок.

## II

Прошло двенадцать дней.

Было утро. Следователь Николай Ермолаич сидел у себя за зеленым столом и перелистывал «кляузовское» дело; Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол.

– Вы убеждены в виновности Николашки и Псекова, – говорил он, нервно теребя свою молодую бородку. – Отчего же вы не хотите убедиться в виновности Марьи Ивановны? Вам мало улик, что ли?

– Я не говорю, что я не убежден. Я убежден, но не верится как-то... Улик настоящих нет, а всё какая-то философия... Фанатизм, то да се...

– А вам непременно подавай топор, окровавленные простыни!.. Юристы! Так я же вам докажу! Вы перестанете у меня так халатно относиться к психической стороне дела! Быть вашей Марье Ивановне в Сибири! Я докажу! Мало вам философии, так у меня есть нечто вещественное... Оно покажет вам, как права моя философия! Дайте мне только поездить.

– О чем это вы?

– Про шведскую спичку-с... Забыли? А я не забыл! Я узнаю, кто зажигал ее в комнате убитого! Зажигал не Николашка, не Псеков, у которых при обыске спичек не оказалось, а третий, то есть Марья Ивановна. И я докажу!.. Дайте только поехать по уезду, разузнать...

– Ну, ладно, садитесь... Давайте допрос делать.

Дюковский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаги.

– Ввести Николая Тетехова! – крикнул следователь.

Ввели Николашку. Николашка был бледен и худ как щепка. Он дрожал.

– Тетехов! – начал Чубиков. – В 1879 г. вы судились у судьи 1-го участка за кражу и были приговорены к тюремному заключению. В 1882 г. вы вторично судились за кражу и вторично попали в тюрьму... Нам всё известно...

На лице у Николашки выразилось удивление. Всеведение следователя изумило его. Но скоро удивление сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели.

– Ввести Псекова! – приказал следователь.

Ввели Псекова. Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осунулся. В глазах читалась апатия.

– Садитесь, Псеков, – сказал Чубиков. – Надеюсь, что сегодняшней раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как те разы. Во все те дни вы отрицали свое участие в убийстве Кляузова, несмотря на всю массу улик, говорящих против вас. Это неразумно. Сознание облегчает вину. Сегодня я беседую с вами в последний раз. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будет уже поздно. Ну, рассказывайте нам...

– Ничего я не знаю... И улик ваших не знаю, – прошептал Псеков.

– Напрасно-с! Ну, так позвольте же мне рассказать вам, как было дело. В субботу вечером вы сидели в спальне Кляузова и пили с ним водку и пиво (Дюковский вонзил свой взгляд в лицо Псекова и не отрывал его в продолжение всего монолога). Вам прислуживал Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам о своем желании лечь спать. В первом часу он всегда ложился. Когда он снимал сапоги и отдавал вам приказания по хозяйству, вы и Николай, по данному знаку, схватили опьяневшего хозяина и опрокинули его на постель. Один из вас сел ему на ноги, другой на голову. В это время из сеней вошла известная вам женщина в черном платье, которая ранее условилась с вами относительно своего участия в этом преступном деле. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свеча. Женщина вынула из кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свечу. Не так ли? Я по лицу вашему вижу,

что говорю правду, Но далее... Задушив его и убедившись, что он не дышит, вы и Николай вытащили его через окно и положили около репейника. Боясь, чтобы он не ожил, вы ударили его чем-то острым. Затем вы понесли и положили его на некоторое время под сиреневый куст. Отдохнув и подумав, вы понесли его... Перенесли через плетень... Потом пошли по дороге... Далее следует плотина. Около плотины испугал вас какой-то мужик. Но что с вами?

Псеков, бледный, как полотно, поднялся и зашатался.

– Мне душно! – сказал он. – Хорошо... пусть... Только я выйду... пожалуйста.

Псекова вывели.

– Наконец-таки сознался! – сладко потянулся Чубиков. – Выдал себя! Как я его ловко, однако! Так и засыпал...

– И женщину в черном не отрицает! – засмеялся Дюковский. – Но, однако, меня ужасно мучит шведская спичка! Не могу долее терпеть! Прощайте! Еду.

Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знает...

– Жила я только с вами, а больше ни с кем! – сказала она.

В шестом часу вечера воротился Дюковский. Он был взволнован, как никогда. Руки его дрожали до такой степени, что он был не в состоянии расстегнуть пальто. Щеки его горели. Видно было, что он воротился не без новости.

– *Veni, vidi, vici!*<sup>[3]</sup> – сказал он, влетая в комнату Чубикова и падая в кресло. – Клянусь вам честью, я начинаю верить в свою гениальность. Слушайте, чёрт вас возьми совсем! Слушайте и удивляйтесь, старина! Смешно и грустно! В ваших руках уже есть трое... не так ли? Я нашел четвертого или, вернее – четвертую, ибо и эта есть женщина! И какая женщина! За одно прикосновение к ее плечам я отдал бы десять лет жизни! Но... слушайте... Поехал я в Кляузовку и давай вокруг нее описывать спираль. Посетил я на пути все лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведские спички. Всюду мне говорили «нет». Колесил я до сей поры. Двадцать раз я терял надежду и столько же раз получал ее обратно. Валандался целый день и только час тому назад набрел на искомое. За три версты отсюда. Подают мне пачку из десяти коробочек. Одной коробки нет как нет... Сейчас: «Кто купил эту коробку?» Такая-то... «Пондравилось ей... пшикают». Голубчик мой! Николай Ермолаич! Что может иногда сделать человек, изгнанный из семинарии и начитавшийся Габорио, так ему непостижимо! С сегодняшнего дня начинаю уважать себя!.. Уфффф...

Ну, едем!

– Куда это?

– К ней, к четвертой... Поспешить нужно, иначе... иначе я сгорю от нетерпения! Знаете, кто она? Не угадаете! Молоденькая жена нашего станowego, старца Евграфа Кузьмича, Ольга Петровна – вот кто! Она купила ту коробку спичек!

– Вы... ты... вы... с ума сошел?

– Очень понятно! Во-первых, она курит. Во-вторых, она по уши была влюблена в Клязуова. Он отверг ее любовь для какой-нибудь Акульки. Месть. Теперь я вспоминаю, как однажды застал их в кухне за ширмой. Она клялась ему, а он курил ее папиросу и пускал ей дым в лицо. Но, однако, поедemте... Скорее, а то уже темнеет... Поедемте!

– Я еще не сошел с ума настолько, чтобы из-за какого-нибудь мальчишки беспокоить ночью благородную, честную женщину!

– Благородная, честная... Тряпка вы после этого, а не следователь! Никогда не осмеливался бранить вас, а теперь вы меня вынуждаете! Тряпка! Халат! Ну, голубчик, Николай Ермолаич! Прошу вас!

Следователь махнул рукой и плюнул.

– Прошу вас! Прошу не для себя, а в интересах правосудия! Умоляю, наконец! Сделайте мне одолжение хоть раз в жизни!

Дюковский стал на колени.

– Николай Ермолаич! Ну, будьте так добры! Назовите меня подлецом, негодяем, если я заблуждаюсь относительно этой женщины! Дело ведь какое! Дело-то! Роман, а не дело! На всю Россию слава пойдет! Следователем по особо важным делам вас сделают! Поймите вы, неразумный старик!

Следователь нахмурился и нерешительно протянул руку к шляпе.

– Ну, чёрт с тобой! – сказал он. – Едем.

Было уже темно, когда шарабан следователя подкатил к крыльцу станowego.

– Какие мы свиньи! – сказал Чубиков, берясь за звонок. – Беспокоим людей.

– Ничего, ничего... Не робейте... Скажем, что у нас рессора лопнула.

Чубикова и Дюковского встретила на пороге высокая полная женщина, лет двадцати трех, с черными, как смоль, бровями и жирными, красными губами. Это была сама Ольга Петровна.

– Ах... очень приятно! – сказала она, улыбаясь во всё лицо. – Как раз к ужину успели. Моего Евграфа Кузьмича нет дома... У попа засиделся... Но мы и без него обойдемся... Садитесь! Вы это со следствия?..

– Да-с... У нас, знаете ли, рессора лопнула, – начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло.

– Вы сразу... ошеломите! – шепнул ему Дюковский. – Ошеломите!

– Рессора... Мм... да... Взяли и заехали.

– Ошеломите, вам говорят! Догадается, коли канителить будете!

– Ну, так делай, как сам знаешь, а меня избавь! – пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. – Не могу! Ты заварил кашу, ты и расхлебывай!

– Да, рессора... – начал Дюковский, подходя к становихе и морща свой длинный нос. – Мы заехали не для того, чтобы... эээ... ужинать и не к Евграфу Кузьмичу. Мы приехали затем, чтобы спросить вас, милостивая государыня: где находится Марк Иванович, которого вы убили?

– Что? Какой Марк Иваныч? – залепетала становиха, и ее большое лицо вдруг, в один миг, залилось алой краской. – Я... не понимаю.

– Спрашиваю вас именем закона! Где Кляузов? Нам всё известно!

– Через кого? – спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковского.

– Извольте указать нам – где он!?

– Но откуда вы узнали? Кто вам рассказал?

– Нам всё известно-с! Я требую именем закона!

Следователь, ободренный замешательством становихи, подошел к ней и сказал:

– Укажите нам, и мы уйдем. Иначе же мы...

– На что он вам?

– К чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать! Вы дрожите, смущены... Да, он убит и, если хотите, убит вами! Сообщники выдали вас! Становиха побледнела.

– Пойдемте, – сказала она тихо, ломая руки. – Он у меня в бане спрятан. Только, ради бога, не говорите мужу! Умоляю вас! Он не вынесет.

Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и сени во двор. На дворе было темно. Накрапывал мелкий дождь. Становиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, всхлипывавших под ногами. Двор был большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. В темноте показались силуэты деревьев, а между деревьями – маленький домик с покривившеюся трубой.

– Это баня, – сказала становиха. – Но умоляю вас, не говорите никому!

Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромный висячий замок.

– Приготовьте огарок и спички! – шепнул следователь своему помощнику.

Становиха отперла замок ипустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с маленьким толстеньким самоваром стоял супник с остывшими щами и блюдо с остатками какого-то соуса.

– Дальше!

Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже стоял стол. На столе большое блюдо с окороком, бутылъ с водкой, тарелки, ножи, вилки.

– Но где же... этот? Где убитый? – спросил следователь.

– Он на верхней полочке! – прошептала становиха, всё еще бледная и дрожащая.

Дюковский взял в руки огарок и полез на верхнюю полку. Там он увидел длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело издавало легкий храп...

– Нас морочат, чёрт возьми! – закричал Дюковский.

– Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван. Эй, кто вы, чёрт вас возьми?

Тело потянуло в себя со свистом воздух и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову.

– Кто это лезет? – спросил охрипший, тяжелый бас. – Тебе что нужно?

Дюковский поднес к лицу неизвестного огарок и вскрикнул. В багровом носе, взъерошенных, нечесаных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухарски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал корнета Кляuzова.

– Вы... Марк... Иваныч?! Не может быть! Следователь взглянул наверх и замер...

– Это я, да... А это вы, Дюковский! Какого дьявола вам здесь нужно? А там, внизу, что еще за рожа? Батюшки, следователь! Какими судьбами?

Кляuzов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь.

– Какими путями? Выпьем, чёрт возьми! Тра-та-ти-то-том... Выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? Впрочем, всё равно! Выпьем!

Кляuzов зажег лампу и налил три рюмки водки.

– То есть, я тебя не понимаю, – сказал следователь, разводя руками. – Ты это или не ты?

– Будет тебе... Мораль читать хочешь? Не трудись! Юноша

Дюковский, выпивай свою рюмку! Проведемте ж, друзья-я, эту... Чего смотрите? Пейте!

– Все-таки я не могу понять, – сказал следователь, машинально выпивая водку. – Зачем ты здесь?

– Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь хорошо?

Кляузов выпил и закусил ветчиной.

– Живу у становихи, как видишь. В глуши, в дебрях, как домовый какой-нибудь. Пей! Жалко, брат, мне ее стало! Сжалился, ну, и живу здесь, в заброшенной бане, отшельником... Питаюсь. На будущей неделе думаю убраться отсюда... Уж надоело...

– Непостижимо! – сказал Дюковский.

– Что же тут непостижимого?

– Непостижимо! Ради бога, как попал ваш сапог в сад?

– Какой сапог?

– Мы нашли один сапог в спальне, а другой в саду.

– А вам для чего это знать? Не ваше дело... Да пейте же, чёрт вас возьми. Разбудили, так пейте! Интересная история, братец, с этим сапогом. Я не хотел идти к Оле. Не в духе, знаешь, был, подшофе... Она приходит под окно и начинает ругаться... Знаешь, как бабы... вообще... Я, спьяна, возьми да и пусти в нее сапогом... Ха-ха... Не ругайся, мол. Она влезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного. Вздудла, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь... Любовь, водка и закуска! Но куда вы? Чубиков, куда ты?

Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такую скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости, Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли стыда на его лице.

Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, перелистывал «Ниву».

– Дела-то какие на белом свете! – сказал он, встречая следователя, с грустной улыбкой. – Опять Австрия того!.. И Гладстон тоже некоторым образом...

Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся.

– Скелет чёртов! Не лезь ко мне! Тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты не лез ко мне со своею политикой! Не до политики тут! А тебе, – обратился Чубиков к Дюковскому, потрясая кулаком, – а тебе... во веки веков не забуду!



– Но... шведская спичка ведь! Мог ли я знать!

– Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай, а то я из тебя чёрт знает что сделаю! Чтобы и ноги твоей не было!

Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел.

– Пойду запью! – решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир.

Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной.

– Зачем следователь приезжал? – спросил муж.

– Приезжал сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены!

– Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! – вздохнул становой, поднимая вверх глаза. – Говорил я тебе, что распутство не доводит до добра! Говорил я тебе, – не слушался!

# Михаил Дмитриевич Чулков «Рассказы из книги „Пересмешник, или Славенские сказки“»

1789

## Угадчики и верблюд

*Отрывок из рассказа «Угадчики», демонстрирующий проявление детективной логики еще в XVIII веке.*

Турки так же умирают, как и все люди, только хоронят их с некоторыми отменными по закону их обрядами; да дело теперь о смерти, а не о законе. Итак, скажем, что скончался близко Константинополя не последнего звания турок; осталось после него довольно имения и также три сына, которые после смерти его получили титул наследников. В то время, когда похороняли они своего отца, какой-то довольно проворный вор похитил все оставшееся им имение, и когда наследники усмотрели, что делить им было нечего, то предприняли разбирать дело это судом. Большой брат имел подозрение на среднего, средний на меньшого, меньшей на большого; итак, должно было всем просить друг на друга. Все равно желали иметь наследство, и для того все равно об оном и старались; итак, отправились они в Константинополь к кади.

Встретился им на дороге человек запыхавшись, который спрашивал:

– Не видали ли, братцы?

– Не верблюда ли? – спрашивал большой брат.

– Он левым глазом был кос, – сказал средний.

– А на нем был укус, – говорил меньшей.

– Так точно, государи мои, это мой верблюд; да где же он? – продолжал встретившийся.

– Мы его не видали, – отвечали ему все три брата вместе.

– Возможно ли, – говорит прохожий, – отгадав, что я спрашиваю верблюда, описав его с ног и до головы, и говорить, что вы его не видали. Так конечно вы, господа мои, воры; однако у кади, я думаю, что заговорите вы другим голосом. Я желаю переговорить с вами у этого судьи.

– Очень изрядно, – отвечали они ему, – а мы и сами великое имеем до

него дело.

Мужик, идучи, радовался, что нашел своего верблюда, и думал, что уже он в его руках.

Пришедши к судье, мужик начал тотчас просить о своей покраже и уведомил кадия, как отвечали они ему, когда он спрашивал об одной. Кади, услышав все, нимало не сомневался, чтоб верблюд не был в руках у этих трех братьев; итак, сказал им, чтобы они немедленно отдали его мужику. Большой брат сказал судье, что они верблюда никакого не видали и у себя его не имеют. Кади, рассердись, закричал:

– Почему же ты узнал, что мужик спрашивал верблюда?

– Потому, – отвечал большой брат, – что было это еще утро, и роса покрыла поле, и следов не видно было никаких, выключая верблюжьих; я узнал, что пробежал тут верблюд; итак, спрашивал, не верблюда ли он ищет.

– Изрядно, – отвечал судья, – а ты по чему узнал, что верблюд был левым глазом кос?

– По тому, – говорил середний брат, – что на правой стороне дороги трава самая сухая, то он ее всю смял и ел, а на левой самая преизрядная, которой он нимало не повредил; так надобно, чтобы он левым глазом был кос.

– Хорошо; а ты как это мог узнать, – спрашивал кади у меньшого брата, – что он навьючен был уксусом?

– Очень нетрудно, – отвечал он. – В следах его оставалось несколько жидкой материи, в которую я, омокнув перст, положил на язык и узнал, что это уксус; итак, надобно, чтоб был на верблюде в мехах уксус.

– Теперь я вижу, что это правда, – отвечал он. – Итак, ты, мужик, напрасно имел на них подозрение; поди и ищи твоего верблюда, куда он побежал.

Безнадежный мужик променял великую радость на печаль и пошел догонять свою скотину.

## Горькая участь

*Часть этого небольшого рассказа представляет собой минимальный по объему "протодетектив": загадочную историю с моментальным ее разъяснением.*

«Крестьянин», «пахарь», «земледелец» – все три названия, по преданию древних писателей, в чем и новейшие согласны, означают главного отечеству писателя во время мирное, и в военное – крепкого защитника, и утверждают, что государство без земледельца обойтись так, как человек без головы жить, не может! Но ложь ли, правда ли, рассуждать нам о том недосуг; да сверх того и сказкам такие глубокие задачи и не подлежат. Мы скажем, что витязь повести сей, крестьянин Сысой Фофанов, сын Дурносопов, родился в деревне, отдаленной от города, воспитан хлебом и водою, был повит прежде пеленами, которые тонкостию и мягкостию своею немного уступали циновке, лежал на локте вместо колыбели в избе, летом жаркой, а зимой дымной, до десятилетнего возраста своего ходил босиком и без кафтана, претерпевал равномерно летом несносный жар, а зимою нестерпимую стужу; слепни, комары, пчелы и осы, вместо городского жиру, во времена жаркие наполняли тело его опухолью. До двадцати пяти лет, в лучшем уже убранстве против прежнего, то есть в лаптях и в сером кафтане, ворочал он на полях землю глыбами и в поте лица своего употреблял первобытную ж свою пищу, то есть хлеб и воду, с удовольствием. Имел намерение жениться, для чего и сватался на многих соседственных девках; но ни одной за него не отдавали, по причине той, что был он крайне не заводен, мало предприимчив, а проще сказать, простофиля.

Зависть и ненависть те ж самые и между крестьянами, какие бывают между горожанами, но как крестьяне чистосердечнее городских жителей, то сии пороки скорее в них приметны бывают, нежели в тонких политиках, обитающих при дворе и в городе. Такие сельские жители называются «съедугами»; имея жребий прочих крестьян в своих руках, богатеют за счет их, давая им займы деньги, а потом запрягают их в свои работы так, как волов в плуги; и где таковых два или один, то вся деревня составлена из бедняков, а он только один между ними богатый: для того, что сев, жатва и сенокос должниками его убираются прежде, а те всегда севом своим опоздать должны. И когда опоздали сеять, то убирать уже будет нечего, а затем и остаются в вечном долгу у «съедуги», который из того не убыток, но приращение имеет, ибо вся деревня к нему на работу, как на барщину, приходит.

Сии «съедуги» за недостатком многого по сельскому быту у Сысоя Дурносопова, удумали отдать его за вотчину в солдаты, привезли в город, где Сысой в первый раз еще увидел прямые улицы, регулярное строение и политичных людей разного покроя и разных цветов в одеянии. Но он рассматривал их недолго, для того, что в скором времени представили его к

рекрутскому приему. Примеря, сказали: «Мал ростом», – а лекарь закричал: «Тонки ноги!». И так из приемной выслали, не выбрив, однако, затылка, для особого предуведомления отдатчиков, которые то удобно понимать могли: ибо не в первый уже раз таковое приключение с ними учинилось. Поутру, поране вчерашнего, представлен был опять Сысой Дурносопов в приемную комнату; на темя его положено было несколько угомонной монеты, а сколько именно, достоверно не знаю; к обеим же ногам привязано было по ассигнации, чем Сысой пришел в указанную меру, и за одну ночь икры потолстели. Выбрили лоб, и Дурносопов призван за исправного рекрута, и сие действие происходило в бывших провинциальных канцеляриях. Приемщик не соглашался принимать при рекруте ничего натурою, а за платье и провиант требовал деньгами, против чего спорить было невозможно, итак учинен во всем расчет и дело кончено.

Армия наша находилась тогда за границую, куда Сысой с прочими препровожден был мирским подаянием, не получая ни одежды, ни провианта от командующего офицера, которого они и в глаза не видали во всю дорогу, а догнал он их, не доезжая до армии верст со сто или еще того меньше; из пятисот человек дошло до армии не с большим пятьдесят, а прочие разбежались и померли. Командующий офицер подал рапорт, что, за малоимением команды, рекруты в разные времена бежали; его отдали под суд, а рекрут причислили к команде лишенных всего им принадлежащего: ибо у командовавшего ими офицера при арестовании его ничего не отыскано, а слух носился, что он припрятал все подале, на случай строгой резолюции в суде.

Сысой, обучившись артикулу, был на трех приступах изрядным солдатом, с похвалою от командующих; но на последнем из тех сражений потерял правую руку, так что действовать оною нисколько не мог; для чего в скором времени получил чистую отставку и уволен на прежнее жилище, куда он скоро и отправился, положи свое движимое имение в котомку и повесив оную за плечо. Думают многие и утверждают справедливо, что сия котомка в пути его не обременяла: понеже находилась в ней рубашка, галстук и десять копеек денег медною монетою, из которых тратил он на столовые припасы.

Путешествие его из армии на место рождения не столь было славно и достопамятно, как путешествие Бовы Королевича из царства Додона Додоновича во владение Кирбита Верзауловича, родителя Милокрасы Кирбитовны, или славного рыцаря Петра во владение прекрасной королевы Магилены Неаполитанской; следовательно, такого прилежного описания и не требует, а довольно сказать и того, что он достиг оною подаянием

доброхотных даятелей.

При рассветании зимнего дня, в день рождества Христова, во время заутреннего пения, пришел он к своему приходу и наряду с прочими вошел в церкву помолиться, где уповал увидеть отца своего и мать; но как оных не было тогда в церкви, то на вопрос его ответствовали ему родственники его, что они ввечеру обоих видели, а для чего их в такой великий праздник нет у заутрени, того они не ведают.

По окончании пения Сысой и многие из его родственников пошли в дом его отца и, стучавшись под окнами и в ворота, не могли никого вызвать, кто бы им отпер, пошли к старосте; пригласив его и других крестьян попочтеннее, разломали ворота и, вошед на двор с зажженной лучиною, увидели следующее по порядку. Перед крыльцом висел баран, до половины освежеванный, подле которого на перилах у спуска крылечного лежал окровавленный нож; посередине двора висел в петле, прицепленной к перекладу, удушенный хозяин; изба была отворена, в которой на полу разбросаны были дрова, немного обгорелые; посередине на полу лежала хозяйка, голова у которой была прорублена топором, который и лежал подле нее окровавленный; за занавескою в подвешенной колыбели лежала зарезанная по горлу девочка месяцев трех, спеленатая, а подле нее окровавленный нож; в печи нашли мальчика, лет четырех, мертвого, у коего волосы на голове все сотлели и местами от жару истрескалось тело; в переднем углу на лавке лежала хорошая одежда хозяинова, а на столе праздничная хозяйкина, принесенные из клетки, как то обыкновенно у крестьян бывает.

Рассмотрев все сие, отставной солдат заплакал, чему последовали и некоторые из его родственниц; да инако и быть невозможно: увидев перед собою отца, мать, брата и сестру вдруг мертвыми, всякой сельской житель придет к сожалению и начнет вопить по деревенскому обряду и названию. Стон, происшедший от вопиющих в избе, немедленно собрал всю деревню. Старые и молодые сожалели, а ребята малые ужасались – словом, все были заняты таковым удивительным приключением.

Случай не токмо деревенским, но многим и городским жителям непонятный, начали крестьяне крестьянки толковать различным образом, сельским умом и деревенскими рассуждениями, без правил, свободными науками установленных: один говорил, что сделали то разбойники, но платья унести не успели; другой основательнее утверждал, что рассердился домовый и так поступил с ними, как должно неприязненной силе, и прочая; старухи верили больше последнему, творили молитву и спрашивали у стариков, не грех ли к убитым прикасаться? А поразумнее головы, призвав

дьячка и сотского, написали рапорт со всеми найденными обстоятельствами и послали в город.

В рассуждении столь великого праздника все судьи и секретари из города были отсутственны и находились по деревням окольных дворян; а дневальные приказные служители от принятия рапорта отозвались. Таким образом, шесть недель принят был сей рапорт в учрежденном на то суде, и дана резолюция ехать одному из членов и осмотреть на месте; но как тела убитых были уже похоронены, то и посланный для осмотра член рапортовал таким образом: «По осмотру его и по обыску оказалось, что крестьянин, напившись в праздник пьян, порубил свою семью и сам, упав с крыльца, ушибся»; а, подавая сей рапорт, промолвил: «Крестьяне-де государственные, то вдаль следствий быть не может». Почему данною резолюцией и велено: «С прописанием того рапорта отрапортовать верхнему приветственному месту, а дело, исключив из реестра нерешенных дел, числить решенным к отдаче в архив».

Таким манером удивительное сие в природе приключение в присутственном месте вовсе кончено на общем основании о делах затруднительных, требующих судейского ума и проникания; но непросвещение и недосуги судейские без исследования погрешают во тьме неведения и важнейшие сего.

Но когда дошел о том слух до людей ученых того времени, то они, уважив такой непроницаемый случай, решились его исследовать, сколько возможность им дозволить могла, и по довольном изыскании гадательно заключили так. Четырехлетний младенец, находясь в крепком сне и встревожен будучи сонным привидением, встал со своего места, взял нож, с которым нередко у баловниц-матерей и отцов ребята, играя ими, засыпают, и согласно с сонным привидением зарезал младенца, свою сестру, в колыбели; а, опомнившись и узнав, что сделал он худо, спрятался в печь. Хозяин и хозяйка, проснувшись ранее обыкновенного для праздника, чтобы, заранее убравшись в доме, поспеть им в церкву, заготовили, во-первых, праздничное свое платье, потом хозяин пошел свежевать барана, а хозяйка принялась топить печь, не осмотрев своих детей, потому что спят они, как она думала и слышала, спокойно; поклав дрова, затопила. Несмышленный мальчик не смел в печи поворохнуться от страху; но как огонь уже усилился, дрова сухие обыкновенно вдруг занялись, и жар несносной до него коснулся, тогда он закричал; хозяйка, бросаясь к постели, его не увидела, то и уразумела, что он в печи; закричала мужу, а сама начала хватать дрова из печи и метать их по полу; мальчик тем временем задохнулся, а крестьянин вбежал в избу с

обыкновенным всегдашним своим оружием, то есть топором, который он заготовил, может быть, к разнятию барана. Услышав и увидев, что жена его сожгла в печи сына, будучи в торопливости и страхе, а оттого и в запальчивости, ударил безрассудно и неосторожно жену свою в голову, от чего и лишилась она жизни. Крестьянин, пришед в жалость и оторопев, не зная, что ему делать, видя двух мертвых перед собою, а, заглянув в люльку, нашел и третьего. Отчаяние поразило малоосмысленного человека, которое бы просвещенного и великодушного не меньше поколебало; сверх сего обуял его страх стыда и совести, а потом жестокость наказания за тоlikое беззаконие, кое он все неотменно принужден был относить к своей стороне, лишила его рассудка; итак, страх, жалость и отчаяние принудили его удавиться.

Таким образом рассудили с сожалением ученые того времени люди, которое их рассуждение многими тогда признано за справедливое; ибо инаково решить удивительного сего в природе приключения все недоумевали. А несчастный воин, похоронив всю свою семью и употребив остатки имения на погребенье их, остался наследником двора своего родителя, без скота и хлеба, которых гораздо на великое количество им было найдено; а что всего еще более и бедному человеку чувствительнее и без правой руки своей, без которой он не токмо целого, но и половины доброго и прилежного крестьянина составить не мог.

### **Пряничная монета**

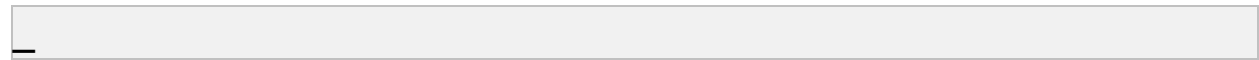
*Рассказ, построенный по второму типу детективной схемы (где роль загадки играет неразрешимая задача).*

Истинное богатство человеческое есть разум и добродетель, а истинное убожество – лишение сих дарований; мнимое богатство человеческое – великое излишество имения, а самопроизвольное убожество – желание излишества. Сие излишество, под общим именем богатства, приобретается двумя противными друг другу действиями, а именно: во-первых, трудолюбием и бережливостью, а, во-вторых, наглостью и жестокосердием. И так одно из них есть невинное, а другое – порочное.

Богач от трудолюбия и бережливости разумея по приложенным к тому



трусам цену своего имени, имеет внимание на недостатки ближнего, не имеющего к обогащению себя способов и дороги; по возможности ему вспомоществует, как искусившийся уже человек, наставлениями к тому и приобретенным своим капиталом, без интересов, или за узаконенные проценты, размеряя нужду ближнего своего со своими излишествами, и будучи господином имения своего не производит себе, ни капиталу своему поношения. А богач наглостью и жестокосердием неразумев цены случайно дошедшего к нему имения без приложения им трудов, а потому боясь каждоминутно потерять оное и учинившись не господином, но холопом своего богатства, неусыпно внимает на нужды своего ближнего, но в противном намерении первому; а именно: чтобы, дав небольшую в займы сумму, получить в заклад большое имение и в случае неисправности плательщика овладеть оным под видом благопристойности, хотя бы у займщика и последнее случилось; взять указанные проценты, но не более, как на четыре месяца, что и составит в год по пятнадцати, кроме других интересов, ему только известных, например: данные деньги займы взяты были у другого за комиссию, за промен денег, за просроченные дни с капитала и так далее; в скором же времени взятая в заем сумма превзойдет цену имения, а заимобратель поспешает писать из закладной купчую, боясь, чтоб не приплатить еще другим имением, а в случае недостатка не потерять бы драгоценной вольности и не быть помещенным под башнею, на которой всегда в двенадцатом часу играет полковая музыка.



Сего ради богач желает себе сокровищ всего света, мыслит золотой веткой, данной Энею от Сивиллы Куманской, о Филипповом осле, навьюченном золотом, которые открывали богачам самые неприступные места; обожает Креза и Мида, потому что они уже мертвые; а живых богачей всех ненавидит, боясь, чтобы никто не превзошел его капиталом; честь свою и славу в том только полагает, чтобы считали его всех богаче в городе; мыслит и говорит всегда об интересах, не уважая никакой особы, кажется всегда пасмурен и заботлив, старателен выведать всю самую тонкость о богаче, пришедшем в несостояние, печален и прискорбен, смотря на все предприятия к поправлению его знакомых, и, словом, ведет жизнь беспокойнее самого бедняка, не имущего дневного пропитания.

Такая страсть в человеке потушает, наконец, остатки его совести, и хотя по исчислению его капитала не токмо он, но и потомки его до третьего

колена безбедно и избыточно жизнь свою провести могут, однако ему кажется все то мало и недостаточно. Сам желает, чтобы все думали и считали его отменным богачом, но сам же и всегда объясняет свои недостатки; таким образом, привыкнув все партикулярные интересы искусно обращать в свою пользу дробными и фальшивыми правилами, под именем умножения, приобретения и накопления именина, и угомонив вовсе глас вопиющей к нему совести, вознамеривается принадлежащее право казни под покровом непроницаемой хитрости обратить в пользу своего приращения, и доход, ей принадлежащий, привести в собственные свои сундуки, якобы вернее всех комиссар и истинный сын отечества, не страшась должного за то по законам возмездия. Следовательно, в таких душах интерес выше чести почитается, и расстройство домашнее уступает место прибытку, а потому ясно доказательно, что в порочном богаче любовь к ближнему места не имеет.

Вышеописанного сложения был некто отставной майор Верзил Тихиев, сын Фуфаева, служивший в армии ровно тридцать лет и три года без всякого штрафа, потому что в командировке и на приступах не бывал, а отправлял всегдашнюю должность комиссара и был у раздачи солдатам жалованья, провианта, фуража и амуниции. И как всегда находился в трезвом состоянии и вел приход и расход исправно, то приехав в свою деревеньку в отставку, к двадцати пяти душам прикупил он девятьсот пятьдесят душ за сходную цену у двадцатипятилетнего дворянина, которому по смерти отцовской деревни более не понадобились, хотя оные находились в совершенном порядке и в хлебородной стороне, что мы называем низовые места. Фуфаев хорошей экономией и добрым присмотром возвел хлебопашество в деревнях своих до высочайшей степени, и, построив небольшие винокурные заводы, начал курить вино и день и ночь беспрестанно.

Известно всем, что продажа горячего вина издревле принадлежит у нас казне, и собираемый от того доход с прочими идет на содержание армии. Известно и то, что до благополучных нынешних времен сколько

происходило смертоубийств, разорения дворянских домов и крестьян, сколько находилось во всегдашнее время под стражею, и сколько жестоко наказуемо было людей, от жадности и грабительства бывших до сего откупщиков, которые, не имев прежде нисколько у себя капитала, сделались ныне несчетными богачами. Ныне прозорливостью бывшей власти избавлены дома благородных от посещения незваных гостей, которое под видом и именем выемки в кладовых их и в самые внутренние покои простиралось без всякого препятствия, где нанятые и упоенные откупщиком солдаты не щадили ни пола, ни возраста, а о должном почтении к благородным и помышления не имели.

Все добросовестные и прямо благородные люди воссылают за то усерднейшую благодарность и содержат себя всегда соответственно учиненной с ними милости к своему характеру, не пользуясь запрещенным, но довольствуясь назначенным им по власти и предписанию в дозволенном винокурении избытком; а как не все детки одной матки, то носящие одно токмо имя благородных, не чувствуя в сердцах своих зараженных всяким недозволенным прибытком, не перестают и ныне корчемствовать, разными видами и разными манерами; в том числе и отставной майор Фуфаев учредил у себя за запрещением явную винную продажу, на таком основании и под таким покровом, что и до кончины его искусство то истреблено быть не могло и продолжалось прибыточно к собственному его удовольствию. Он учредил в сельце своем лавку для продажи пряников, назначив им цену, как то и везде водится, пряник – алтын, пряник – пять копеек, пряник – семь копеек и пряник – гривна. Его собственные крестьяне, окольные и заезжие, приходя в лавку, берут за деньги пряники, кому в какую цену угодно, идут с ними на поклон к помещику, которых он всех охотно до себя допускал. Определенный к тому слуга, принимая пряники, дает соразмерный стакан вина принесшему оной по приказанию своего господина. Сим стаканом учинено было такое же учреждение, как и пряникам; но и фамилия Фуфаев для того также распределена была. В отсутствии самого хозяина крестьяне с пряниками, что бывало беспрерывно, приходят на поклон к его сожительнице, в небытность которой – к дворецкому и так далее. В пряничной лавке содержали шнуровые книги по обороту пряниками, сколько в который день продано их и каких сортов за деньги, и сколько получено в лавку обратно; а у потчевания вином такие же, в которые вписывали расход оного.

—

Майор Фуфаев имел из того сугубые выигрыши: собственные крестьяне его за то благодарили, окольные отменно почитали, а приезжие и все вообще уваживали его поля; ибо вседневно, а особливо и в праздники, в сельце его непрерывная бывала ярмарка, понеже вино крепкое и мера не фальшивая, а потому каждодневная продажа вина и выручка денег превосходила всегда десять уездных кабаков, находящихся на вере, которые должны продать по сложности. Фуфаев беспрестанно богател; однако, как слышно, опасался иногда должного за то по всей строгости законов возмездия, которое рано или поздно последовать бы должно было; но он предварил то своею кончиною и, отошедши от сего света, не взял с собою из накопленных непозволенным образом денег ни одной копейки, сожалея только, что не накопил их больше; и уверяют совершенно, что Фуфаев, признаваясь перед своими приятелями, говорил утвердительно, что он не боится потерять благородного имени, но ужасается лишиться своего имения, которое, как он думал, во время следствия о запретительной им продаже вина крепко порассориться должно.

*Рассказ, построенный по второму типу детективной схемы (где роль загадки играет неразрешимая задача).*

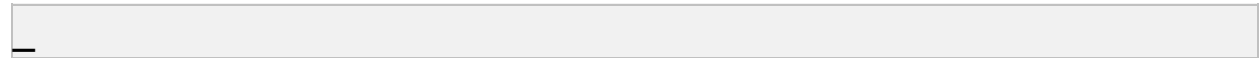
### **Драгоценная щука**

По древнему названию *посул*, по нынешнему *взятки*, а по иностранному *акциденция*, когда начало свое восприняло, в том все ученые между собой не согласны, да и в гражданской истории эпоху сию не скоро сыскать возможно; а потому и нельзя достоверно утвердить, какой народ преимущество в том изобретении взять должен.

Не заимствуя из истории других Государств, удоволимся мы бытием дел и случаев своего отечества. В древние времена позволены были у нас *взятки*, что доказывается челобитными, подаванными от тех людей, которые желали определиться на городе Воеводою, в них писали обыкновенно, «надежда Государь отпусти на городе покормиться». А потом и от дела акциденция была дозволена; но как государственные доходы приведены в совершенную известность и меру, а потому учинены штаты и

определено всем находящимся у дел жалование, то взятки, или учтивее акциденция, вовсе отменены и строго запрещены.

Важная сия перемена учинилась причиною великих изобретений, и заботливые умы к накоплению имени дробными правилами, не давали себе покоя и составляли из себя целые Академии проектов, каким образом подкопаться под храмину сооруженную, на твердом и глубоком каменном фундаменте. Многим было предприятие сие неудачно, а другие, поосновательнее их в изобретениях, получили довольные успехи. Явно брать взятки не дерзнули, но направили их течение потаенным каналом, прикрыв его таким покрывалом, что иногда и самые прозорливые люди увидеть и дойти до того никак не могут. Исчисление коих хитростей, ежели оные описывать, составит пять частей пересмешника, а нам не достает здесь только двадцатой главы; следовательно, описание их должны мы оставить до другого случая, а теперь удоволимся одною только из их хитростей; а именно похождением драгоценной шуки.



Около того времени некто основательный человек, с расчетом эконома, приказан, прозорлив, искателен и заботлив, отставной Надворной Советник, определен был Воеводою в городе, стоящем подле реки из значимых в России, из которого обыватели отправляли торговлю к портам и были нарочито зажиточны, не токмо собственно для себя, но могли служить и начальникам, что вновь определенному Воеводе небезызвестно было. Он прибыл в город со всею своею фамилиею в половине дня и поместился в доме, нарочно для него заготовленном, убранном и всею домашнею утварью снабженном. Магистрат, испросив дозволение, пришли к нему на поклон с хлебом и солью. Хлеб лежал на серебряном блюде, а соль – в золотой солонке. Воевода, приняв хлеб и высыпав из оной соль, блюдо и солонку отдавал им назад; купцы, не принимая, кланялись и говорили, что хлеб от посуды не отлучается, и они кланяются всем Его Высокоблагородию, который, приняв на себя суровый вид, говорил им гневно, чтобы они и впредь поступать так не отваживались, и когда до него приучены к таким неблагопристойным поступкам, то во время правления его должны отвыкнуть. Купцы, как громом поражены будучи, взяв блюдо и солонку, пошли в Магистрат и, уподобясь черной земле, не могли друг другу и сообщить своего отчаяния по причине той, что Воеводе уже не до них, который не принимает от них таких поклонов, а особливо при первом

случае; каковое их сердечное предчувствование вскоре потом и сбылось.

---

На другой день поутру разлилась великая и непомерная строгость по городу. Мещане, кои были попроще купечества, думали, что правительство вместо Воеводы впустило к ним в город не ученого лесного медведя, с которым они сладить не могут; а поразумнее обыватели пришли от того в отчаяние и не знали, что начать; собирались в Магистрат, сидели, повесив головы, и один другому не говорил ни слова. Старик лет семидесяти, подошедший в то время к собранию, говорил: «Не отчаивайтесь, друзья, не вешайте голов и не печальте хозяина; оглядится зверек, ручнее будет. Я уже доживаю седьмой десяток и Воевод здесь много видал; тут есть, может быть, какая-нибудь уловка: сыщите кого-нибудь из его домашних на свою сторону и выпросите, не охотник ли его Высокоблагородие до чего-нибудь особо; так дело все и перевернется на другой манер».

Совет старика принят был за благо, и отряжен в ту комиссию молодой купец, человек проворный, говорун, торгующий виноградными напитками; то с помощью их и пятидесяти рублей серебряной монеты на другой день к удовольствию всего города, купечества, мещанства, ремесленных и прочих обывателей объявлено было от него, что он через камердинера Воеводского проведаль, что Его Высокоблагородие неслыханный охотник до щук. Без всякого промедления времени найдена была в городе самая большая щука, заплачено за нее без ряды и поднесена Воеводе, который с превеликим восторгом принял ее своими руками и сказал Магистрату: вот подарок, которым вы меня крайне одолжили, и я вам чистосердечно должен признаться, что я такой до них охотник, что все то, что вам ни угодно, делать буду, и вы от меня ни в чем отказу не получите.

---

Догадка изрядная, опыт с успехом, и купцы были весьма обрадованы, что они такой малостью могут иметь Воеводу всегда на своей стороне. На другой день купец, имевший домашнее дело свое в Канцелярии еще нерешенным, вознамерился утруждать о том новоопределенного воеводу; просьбы же своей никогда они без приносу не употребляют; а известен уже будучи, что судья, кроме щук, ничего не принимает, пошел он на садки и

спрашивал отменной величины щуки; ему показана была похожая на вчерашнюю, за какую от Магистрата заплачено было четыре рубля, но с него просили уже восемьдесят рублей. Знал он верно, что нужда закон переменяет; а притом, может быть, имел уже и сию догадку, что для Воеводы малоценная щука невкусна; заплатил требуемую цену и отнес к градодержателю, которым он и щука его приняты были благосклонно и продолжавшееся дело обещано было кончить. На третий день Магистрат, собравшись попросить Воеводу о некотором общественном деле, за такую же щуку заплатили уже триста рублей. Наконец, дошло до сведения всего города и уезда, что щуки, подносимые Воеводе, не составляют из себя множества, но есть она одна, которая по принесении к нему отправляема была обратно в садок и продавалась различными ценами, потому что дела просителей имели разные качества: например, Магистрат, прося об общественных делах, всякий раз покупал ее по триста рублей, купцы для собственных своих дел, ко побогаче, по сто, а понедостаточнее по пятидесяти рублей; дворяне также покупали ее по разным ценам для подносу Воеводе, смотря по состоянию своего дела; а откупщик или коронный поверенный того города и уезда, когда случалось ему по откупу надобность, которая нередко бывала, а особливо для выемок корчемного вина, генерально платив за нее по пятьсот рублей, а иногда и более, смотря на надобность общественного своего прибытка.

К сей отменной продаже определен был от Воеводы самый исправный приказный служитель, знающий совершенную цену подаваемых челобитен и дел нерешенных, сверх того состояния и капиталы все в городе и в уезде живущих. Он для каждого покупщика назначал цену щуке и посылал записку на садок, где она хранилась, за содержание и сбережение которой платили за каждый месяц рыбаку по десять рублей, и сей рыбак был крепостной Воеводский, выписанный для того нарочно из другой Губернии, дабы дело содержать в тайне.

Сия тварь орудием взяток избрана была, как кажется, потому: первое, что имеет она острые и многочисленные зубы, в которые ежели случится какой-нибудь другой рыбе или иному животному попасться, то уже спасения живота и возврату на сей свет не ожидай; второе, столь прожорлива, что втрое больше себя животное съедает и опустошает целые пруды другой рыбы, не спуская и своему роду; третье, жизнь продолжает долее всех ей подобных, и мне кажется, можно бы назначить ее изображением ехидной ябеды и неправосудия.

---

В пять лет воеводства Надворного Советника, по собственным его выкладкам и достоверным приказного служителя запискам, щука сия стоила около двадцати тысяч; но превзошла она и сию цену; ежели сему добросовестному Воеводе не последовала смена по причине, как сказывают, притеснения неимущих, которым за настоящую цену щуки оной продавать не хотели, а требовали всегда назначенную приказным служителем; но недостатки их лишали той покупки, а от того, сказывают, многие растеряли деревнишки и дворишки, которые и причислены к селам, сельцам и дворам обширным и знаменитым.

---

Расставаясь с воеводством, угощал он дворян и знаменитых купцов, где между прочим употреблена была в пищу и та драгоценная щука, которой куски доставшиеся каждому, оценены были в шутку иной в тысячу, иной более и менее, как кому совесть дозволяла; но смененный Воевода при сем случае так, как и прежде, прищучивать умея, отвечивал каждому без застенчивости, что он служил за то, чем только мог и умел; а можешь де получше, промолвил он, какого-нибудь военного безграмотного Воеводу, который не смыслил силы законов, ни себе, ни людям добра не сделает; сам будет без хлеба, да и других не накормит; а я оставляю многих здешних обывателей, а особливо приказных служителей до последнего, такими, которые неусыпным моим старанием в производстве по большей части трудных и сомнительных дел, довольно руки понагрели и запасли не только себе, но и деткам чемездинку.

---

**notes**



## **Примечания**

**1**

Проклятие (*ит.*)

2

Нет сомнения (лат.)

3

Пришел, увидел, победил! (лат.)